

Александра Лосева, Иван Журавлев ДОМ ПОЛНОЛУНИЯ

Аннотация

Данное произведение представляет собой психологический триллер с элементами мистики. Оно повествует о двух людях, погрязших в своем одиночестве настолько, что оно обретает телесную форму и воплощается в Здании обладающем разумом, изобретательностью, злой фантазией. Возможно встретившись они смогли бы победить Здание и выйти из него, но встреча так и не происходит. Книга написана от первого лица с женской и мужской точки зрения. Является ли финал книги выходом из Здания предстоит решить самим читателям. Авторы не ставят точку, скорее вопросительный знак.

Часть первая

Книга отголосков

**Into this house we're born
Into this world we're thrown
Riders on the storm
Jim Morrison**

**То ли Дом восходящего солнца пуст,
То ли полночь еще не вошла во вкус
Пикник**

Я бегу по коридору, а под ногами у меня хлюпают масляные лужи. Коридор очень узкий, полметра всего, иногда я больно задеваю плечом за всякие углы и косяки, но останавливаться нельзя. Я уже сбился с ритма и дышу кое-как, легкие просто горят, да что там горят – такое чувство, будто их рвет на части. Кажется, я надышался бензином, голова болит ужасно, и кровь бухает в висках, бух-бух.

Иногда я оглядываюсь, но сзади все тот же коридор без начала и конца, узкий и темный, едва подсвеченный флуоресцентными лампами, которые похожи на слепых и белых подземных рыб. Кто-то развесил под потолком коридора дохлых подземных рыб. У кого-то большое чувство юмора. Лампы горят синеватым светом, выхватывают из тьмы участки стен, пола и потолка.

Стены здесь выкрашены в идиотский голубой цвет, а кое-где выложены кафелем, который отблескивает синим; потолок весь грязен и закопчен, а пол черный и мокрый. Да, а потолок здесь ужасно низкий, настолько низкий, что бежать приходится, пригнувшись, и еще под ним тянутся какие-то трубы, насквозь проржавевшие. Я сложился почти пополам и несусь вперед, как гончая. В лицо тянет вонючим сквозняком.

Коридор соединяет резервуары второго корпуса с запасным выходом № 3. Я очень надеюсь добраться до запасного выхода. Запасной выход – это просто ржавая лестница вроде пожарной. Она идет от самого подвала до третьего этажа. И если я ничего не напутал, а план на стене не врет, то бежать осталось не так уж долго.

Да как же сильно бухает кровь в висках!

...А ведь еще с утра засела в голове дурацкая песенка:

**Дым твоей сигареты так сладок,
как прыжок неизвестно откуда,
здесь скрещены лезвия звезд
в ожидании нового чуда.**

**Ты перепутал двери, вошел не туда,
здесь новые стены пахнут, как дым,
а тот, кто раньше был молодым,
смеется теперь беззубым ртом.**

В ней нет ни ритма, ни рифм, ни черта нет. Просто сегодня утром радиоточка разбудила меня ею. Как будто кто-то спяну колотил большой вилкой по не менее большой кастрюле и в экстазе подвывал. Потом еще какие-то колокольчики тошнотворные появились. Особенно мерзко выходило «без-ззуу-быи-иим ра-тоом», причем именно эту фразу кто-то повторял особенно долго. Сама песня длилась минут десять, и у меня от нее заболела голова. Вот и теперь я несусь по коридору, задеваю за стены плечом и боюсь оглянуться, а в голове у меня «беззубым ртом».

Иногда сбоку открываются пасти ответвлений. На плане они не обозначены. Оттуда нестерпимо несет затхлостью и бензином. Впрочем, вру. Бензином тут несет отовсюду. Просто бензиновый рай какой-то.

Бух-бух-бух – это мое сердце колотится, опережая стук подошв. Быстрее, быстрее, быстрее. Даже воздух здесь вязкий, иногда кажется, что я переставляю ноги нарочито медленно, будто они у меня то ли из ваты, то ли из камня. Да будет этому коридору конец?

Я с самого начала знал, что все неспроста. С утра все шло, если не считать мерзкой песенки, слишком гладко и тихо. А ближе к закату я спустился сюда, на резервуарный уровень, потому что на моем шестнадцатом этаже погас свет, а я боялся остаться на ночь в темноте. Я нашел руководство по чрезвычайным ситуациям и прочел, что в этом случае, если не удастся запустить контрольный щиток на своем этаже, нужно подключить резервное освещение со щитка № 26, который находится вот на этом самом подвальном уровне. И я полез вниз.

Все как-то тихо было, как тогда, на Черной Свадьбе. Кажется, когда я спускался на предпоследний этаж, из репродуктора за спиной раздалось какое-то мерзкое стариковское хихиканье. Я открыл тяжеленную дверь с вентилем посередине (теперь понятно, зачем этот вентиль, похожий на бублик-переросток, весь в корках ржавчины, – это чтобы при взрыве огонь не перекинулся на вышележащие уровни). Так вот, я открыл эту дверь и спустился еще на пролет. Тут очень пахло бензином. Я вырвал из руководства листик с планом этажа, чтобы не плутать, и теперь поглядывал на него, поднося к самым лампам (ну и дохлые здесь флуоресцентки! Еще дохлее, чем у меня на этаже!).

Прямо, потом налево, потом снова прямо, и пропустить два проема. Там будет дверь распределительной. Туда я добрался без проблем, только вот от вездесущего запаха бензина разболелась голова. В распределительной, как ни странно, был только один щиток, он назывался «Аварийный». Насколько я понимаю, Дом – саморегулирующаяся система, и к работе теперь должен подключиться не весь аварийный блок, а только та его часть, которая снабжает мой этаж. Я слабо разбираюсь в технике, но мне кажется, что это так.

Я приналег на чуть заржавевший рычаг, что-то загудело, и я с удовольствием поглядел на табло, укрепленное рядом с ним. Напротив надписи «ВКЛ» зажглась зеленая лампочка. Еще там были две красные лампочки. Они не горели и были похожи на глаза какого-то особо тупого насекомого. Система включилась. Я отошел от щитка и хотел было идти назад, но остановился. Что-то мне здесь определенно не нравилось. И что это за дверь такая справа? И почему так пахнет паленой резиной?

А за дверью были резервуары. Едва я ее открыл, в носшибануло бензином, да так, что голова пошла кругом, а во рту стало сладко. Большие емкости, стальные цистерны на

бетонных основаниях, высотой в мой рост. Всего их было три штуки, поблескивающих в свете подслеповатой лампочки, которая свисала с потолка на шнуре.

Шнур.

Запах горелой изоляции.

Я поднял глаза, и мне стало очень холодно.

Провод, шедший от распределительного щитка к лампочке, вонял и дымился. И я знал, что через несколько минут он загорится.

Он не мог загореться вчера, когда меня здесь не было. Он не загорится через час, когда меня здесь уже не будет. Он загорится сейчас. А вокруг – бензин. Какая-то емкость, видимо, течет – вон, лужи какие маслянистые на полу. Пары – да здесь все пропитано бензином! И если провод загорится, то через несколько минут это будет маленький Армагеддон.

Дом не рухнет, нет. Он вечен. А вот целый этаж выгорит. Вместе со мной. Это небольшой подарок мне на вечную память. И я побежал. Рванул оттуда, как заяц. Сначала бежать было легко, и я словно летел, а потом наткнулся на запертую дверь. Все точно – те же повороты, те же дверные проемы – ничего не изменилось. Вот ступеньки, а вот стальная дверь, в которую я вошел. Теперь уже не выйду. Я на минуту оцепенел.

«Беззубыйиим ратооам».

Все ясно. Меня заперли, а теперь будут поджаривать. Захотелось кричать. Может быть, я и закричал бы, но весь сжался, не давая себе раскиснуть. Здесь должен быть шанс, хоть один маленький шанс. И я вспомнил. План этажа – вот основной выход, вот резервуарная, а потом коридор делает поворот направо, раздваивается, и одно его колено, то, что подлиннее, упирается в значок «Запасной Выход». Там не должно быть замков. А над всем этим – мелким шрифтом: «Масштаб не учтен». И я побежал еще быстрее.

Всю иронию этой надписи я понял только теперь. Я бегу уже очень давно, просто валяюсь с ног, и сейчас, кажется, вообще отключусь от бензиновых паров, которые вдруг сгустились и специально переползли в эту часть коридора, а заветная лестница еще даже не показалась.

А может, провод вообще не загорится? И взрыва не будет?

Нет. Я же слишком долго знаю Дом. Будет. Он, похоже, наигрался со мной, я ему надоел, вот он и решил напоследок поразвлечься. Взрыв будет. Но он всегда оставляет какой-нибудь шанс – а вдруг и сейчас получится? Что, если я успею схватиться за железные перекладки и быстро, как обезьяна, полезу вверх, а за моей спиной все будет гореть и рушиться, а я, живой и невредимый, только слегка поцарапанный, усядусь где-нибудь наверху и буду равнодушно слушать пожар...

Хотя, впрочем, что это я. Дом просто не мешает мне отыскивать шансы. Он не помогает ничем и никогда. Вот и сейчас я бегу и не знаю, есть ли там на самом деле выход. Может быть, там глухая стена.

А за поворотом и правда был выход. Ржавая железная лестница, точь-в-точь, как я себе представлял. И когда я протянул к ней руку, стены и потолок дрогнули, сначала слабо, а потом еще раз, сильнее, я полетел на пол, и стало очень тихо, но всего лишь на секунду, потому что потом вокруг были рев и вой. В затылок ударило горячим. Краем глаза я успел увидеть, как загораются веселыми язычками лужи на полу. А потом на мне полыхнула одежда, стало очень больно, и я закричал.

Я все еще кричал, даже когда вскочил с кровати, кричал хрипло, негромко. Потом стоял посреди комнаты, оглядывал вдруг ставшие незнакомыми облупленные стены, сероватый потолок, грязное окно, хлам в углу. Тяжело дышал. Знаю ведь, нельзя спать днем. День – идеальное время для кошмаров. И ночь тоже. И вообще, моя жизнь – это идеальное время для кошмаров.

В окно падал мутный бежевый свет. Может быть, это солнце пробивается через тучи. Да где ему.

Сегодня посреди ночи я проснулся и долго глядел в потолок. Сердце колотилось. Кажется, я снова увидел во сне правду.

Дом – страшная тварь. Он отнял у меня все: имя, лицо, прошлое и будущее. Оставил только немного настоящего, да и то наполовину чужого. Он украл у меня память. Это больно. Иногда я изо всех сил пытаюсь вспомнить хоть что-нибудь, хотя бы свое имя, а вспоминаю коридоры, стены, мигающие флуоресцентки, голод, страх, подвалы. Тогда я изо всех сил сжимаю виски и снова вспоминаю. Туман, перехлестывающий через стену, тусклый свет, стук чьих-то шагов, треск радиоточек, голоса, яркие вспышки. Еще я вспоминаю, как ветер гонит по пустым коридорам газеты, а они шуршат, будто чей-то длинный шлейф. В моей памяти живет теперь только Дом. И когда я вспоминаю это, я кричу. Я раскачиваюсь из стороны в сторону, закрываю лицо руками и кричу ему: «Верни меня! Слышишь, верни меня, ну не забирай же все, оставь хоть что-нибудь, хоть кусочек, верни меня!» Дом слышит и смеется старушечьим смехом.

Дом – большой выдумщик. Иногда он придумывает мне прошлое. Он подсовывает мне его неожиданно, предлагает разные варианты, вытаскивает их из рукава и крутит у меня перед носом. А я должен выбирать. Иногда я вижу свое возможное прошлое в оконных стеклах, иногда это картины, в которые складываются трещины на стенах, а еще оно приходит во сне. И тогда это кошмары. В них всегда какой-то особый привкус тления. Но вот до одной штуки Дом добраться не может и не доберется никогда. Я надежно ее спрятал.

Конечно, иногда я кое-что вспоминаю, вернее, узнаю о себе кучу всяких вещей. Например, я знаю, что не разбираюсь в технике, знаю еще, что не умею играть на гитаре. Однажды во время экспедиции в ближний корпус я нашел в тамошнем коридоре на полу поломанную гитару. Я потрогал ее носком сапога и подумал, что ведь все равно я не умею играть. Дом позволяет мне узнавать эти безобидные мелочи, но он ни за что не позволит приблизиться хоть на шаг к чему-нибудь, что подсказало бы мне, кто же я на самом деле, зачем я здесь, и что мне делать.

Так вот, сегодня мне поначалу снился Дом во всей своей красе. Будто бы я поднимаюсь вдоль его этажей, но почему-то снаружи, взлетаю, как воздушный шарик. Я глядел на серые щербатые стены, черные проемы окон – почему-то мне все больше попадались выбитые стекла, хотя в моем корпусе их не так уж много, – а внизу был двор и знакомая куча мусора с двухкамерным холодильником на вершине.

А потом я увидел свое окно – самое крайнее на последнем, шестнадцатом этаже. Окно под крышей. Меня словно притянуло к нему, и через него я увидел свою комнату, убогую и выставшую, с лампочкой под потолком, радиоточкой на стене, железной кроватью и кучей тряпок в углу. А на полу возле кровати сидел я сам – тощий, длинный, немытый и унылый. А потом я все видел уже как будто сижу на полу возле кровати.

Да, я сидел и бросал в стену камешки, а они со стуком падали на пол. День был ярким, в окно лился желтоватый свет, было тепло. И вдруг в коридоре раздался звук – топот множества ног, невнятное лопотание и как будто песни. Я выскочил из комнаты и столкнулся с целой процессией карликов.

Я несколько не удивился, просто стало как-то любопытно. Они шли, словно на праздник. Топали ногами, громко переговаривались на совершенно непонятном, но все же каком-то знакомом языке, размахивали руками, некоторые пели. Это были страшные уродцы – пузатые, лупоглазые, похожие на жаб с белой бугристой кожей и огромными слюнявыми ртами. Некоторые из них были калеками: у них не хватало рук или ног, один вообще полз по полу, извиваясь, словно червяк. Кое у кого было по несколько лишних конечностей. Один ковылял на пяти ногах, и это несколько не мешало ему распевать веселую песню. Некоторые были голыми, некоторые наоборот, одеты вычурно, в расшитые кафтаны и, почему-то красные, штаны и колпаки.

Я кинулся им навстречу, замахал руками, закричал. Но они не остановились. Они

просто не заметили меня. Я кричал им в уши, тряс их за плечи, заглядывал в глаза, а они все шли мимо. У них была холодная влажная кожа, как половая тряпка. Они продолжали болтать и петь. Когда я останавливал кого-нибудь из них, просто становясь у него на пути, он топтался, упираясь своей бугристой головой мне в живот, и ронял на пол слюни, бессмысленно улыбаясь и продолжая болтать. И так до бесконечности.

Не помню, откуда, у меня взялся топор. Точно такой же, как в жизни – на длинной рукоятке, покрашенной в красный цвет, очень удобный. Не совсем понимая, что и зачем я делаю, я подбежал к одному из них, голому скрюченному уроду, который что-то оживленно рассказывал своему соседу – пузатому и лупоглазому, в красной шапке. Сначала я потряс скрюченного за плечо, но он никак не ответил. Тогда я размахнулся и ударил его топором. К потолку поднялся фонтан крови, она облила меня и урод в красной шапке, и стены, и пол. Скрюченный упал и забился, изо рта у него шла пена. А его сосед повернулся к пустому месту, где только что был его собеседник, пожевал отвисшими губами и сказал неожиданным басом, словно отвечая на вопрос:

– А гала ду. Шибар ог тукрато ох нараг гала ду.

И тогда я закричал, и кричал, пока не увидел жемчужно-серое осеннее небо, легкое и высокое, и солнце, которое было за облаками, золотистое пятно на сером шелке, и узор из голых темных веток, словно кружево, брошенное в это небо, и лохматые птичьи гнезда, и самих птиц, черных и большекрылых. Я знал, что скоро может пойти дождь, мне было светло и хотелось смеяться.

А потом я проснулся. Иногда ко мне приходит этот сон – осеннее небо (я почему-то точно знаю, что оно осеннее), ветки, птицы. Тогда я снова обретаю надежду, потому что это – единственное неподдельное воспоминание, все это действительно было со мной когда-то и где-то. Это моя единственная правда. И тогда я верю, что на свете есть не только Дом.

* * *

...А напоследок Собеседник бросил через плечо:

– Сегодня на третьем этаже в 218-й комнате Черная Свадьба.

Я ничего не ответил, а Собеседник вышел в коридор и там истаял. Так уж у него заведено.

Я немного посидел в углу, а потом все же пошел. Конечно, после разговоров с Собеседником уже ничего не хочется – ни свадьбы, ни поминок. Ничто уже не удивляет. Собеседник дико утомителен. Сейчас вот он сидел и битых два часа вещал мне о бессмысленности какого-либо общения вообще. Он объяснял это тем, что все равно я слышу только то, что хочу услышать. «А чего ж ты ко мне все время ходишь, если ты такой умный?» – спросил я его, наконец. Тут Собеседник стушевался и понес свою обычную желчную ахинею. Я послушал его, и мне расхотелось делать вообще хоть что-нибудь, а ведь планы были – я собирался найти еще уайт-спирита и развести вечером большой костер из мебели, может быть, даже на крыше...

А теперь, после этой долгой и безнадежной беседы, мне хотелось одного: сесть где-нибудь в темном углу, закрыть глаза и ждать, а вдруг что-нибудь будет. Так бы я и сделал, если бы не последние слова Собеседника.

Черная Свадьба.

Это что-то новое. Я попробовал эти слова на вкус, и они сплелись у меня перед глазами, словно две черные змейки, две гадюки на берегу стоячего пруда. Черная Свадьба – на ум приходили вещи, которые я никак не мог помнить, но, тем не менее, откуда-то знал. Сейчас я не понимал, что они значат, остались только какие-то мутные картины и названия: Черная Свадьба, опустевшие деревни, мертвые дома хлопают ставнями, кто-то, кто-то у окна, смотрит. Ночные перекрестки, двурогий месяц, наговор-приговор, хлеб-да-соль, Иван Купало, отченаш, но наоборот, свечи, много свечей, а в конце – снова Черная Свадьба.

Как-то зябко становилось от этих слов, и я решил пойти. Пусть Собеседник сколько угодно говорит, что Дом непостижим и непобедим, потому что это неизменная данность (только подумать, сколько «не», Собеседник – сплошное отрицание). Пусть болтает про пепел, про то, что я – только горсть пыли, а Дом – единственная истина, что все это зря. А я все равно буду кидаться навстречу каждому шороху и огоньку в дальнем окне. Другой вопрос, надолго ли меня хватит.

Я взял топор и пошел.

Путь на третий этаж был неблизкий. Ходить по главной лестнице я все еще опасался, а значит, придется через актовый зал выбраться в хозяйственный блок, а оттуда – к запасному выходу. Это продуваемая всеми ветрами и жутко захламленная лестница. Три четверти окон на лестничных площадках выбиты, так что там вечный сквозняк и окаменевшие на ветру кучи мусора. По вечерам в окна заползает туман и клубится на лестничных пролетах.

С площадки между шестнадцатым и пятнадцатым этажами виден двор от первого корпуса до четвертого. Видны большие контейнеры, ржавые и пустые, куча щебня прямо перед входом в четвертый корпус, котлован, трубы, которые отсюда кажутся россыпью спичек. Видна Стена, но для того, чтобы разглядеть ее, как следует, нужно высунуть в разбитое окно голову. Над ее серой лентой заметна темная полоса колючей проволоки. Во всем Доме нет ничего более исправного и надежного, чем эта колючая проволока под высоким напряжением.

Где-то на уровне десятого этажа за спиной у меня послышалось хрипение и кашель. Это включился репродуктор. Они висят на всех лестничных площадках, такие большие ржавые коробки с прорезями на передней стенке. Включаются и выключаются они так же неожиданно, как и комнатные радиоточки. Сначала репродуктор плевался кашей помех и треском, а потом его прорвало:

– ...передачу для тех, кто не спит... – на дворе стоял день, из окон было видно тускло-желтое небо. – Начнет ее наш специальный корреспондент с репортажем из района затекания. Поскольку Меркурий расположен в четвертом доме, концерт по заявкам наших радиослушателей мы переносим в район затемнения.

Потом он снова поперхнулся, и какой-то визгливый женский голос продолжил:

– А майонез по три двадцать и весь водянистый, такой горький, и я ей говорю, у тебя же майонез весь водянистый и горький, ты что же это, по три двадцать, да что же ты делаешь такое, а она мне – ах ты, лошадь, а я ей – да что ж это такое, а она мне...

Местные радиоточки – разговор особый. Вчера, например, тарелка на стене в моей комнате целый час гоготала по-гусиному и хрюкала. Был вечер, комната доверху наполнялась хлопаньем крыльев и нестройным птичьим шумом, а за этим слышалось шевеление и вздохи каких-то крупных животных. Я уныло глядел на нее, а потом швырнул несколько бутылок, после чего радиоточка вдруг задумчиво сказала:

– Счастлив грезящий смертный и счастлив

Всякий, изведавший силу огня.

– А пошел ты, – искренне сказал я, и радиоточка понесла совершенную околесицу.

– В чужих руках я словно проблеск счастья,

Я горький привкус на твоих губах, – сказала она, в частности.

Здесь, на лестнице, от этого радиобреда было как-то не по себе. Дом настойчиво напоминал, что он меня видит. На уровне шестого этажа репродуктор вдруг неожиданно выдал разудалый марш с фанфарами и тарелками. Я подпрыгнул, попробовал достать его топором, но без толку. А когда я заходил на третий этаж, репродуктор за спиной хихикнул и сказал:

– Наш зеркальный завод предлагает только лучшую продукцию – зеркала всех форм и размеров, всех стилей и направлений, всех эпох и течений, с напылением и без, с искажением и без, создающие искривления, сглаживающие неровности, зеркала со встроенным отвечателем...

Я слушал весь этот бред вполуха, а пока прикидывал, куда же мне пойти, налево или

направо. Третий этаж я не особо любил и бывал тут редко.

– Иногда вам будет казаться, что на вас смотрит кто-то другой, кого вы давным-давно знаете или никогда не видели, и это тоже предусмотрено контрактом.

На третьем этаже был кинозал, большое помещение с окнами, замазанными черной краской. В нем была куча ржавых погнутых железяк. Как-то раз я забрался туда, сослепу не заметил смятого в блин остова кровати на полу, споткнулся и здорово ушибся. Свет в кинозале мне не удалось включить ни разу.

– Ваше отражение живет вместо вас! Новейшее достижение науки и техники!

Меня никак не отпускало ощущение, что я уже слышал эти слова – про отражение. Или видел, или еще что-нибудь, но я это знал. Почему-то сразу представлялся ночной свет и какое-то странное кресло с высокой спинкой. И зеркало напротив, которое рябит, как вода. Наверное, это просто кошмар, который я не помню. Тонкая женская рука, бледная, с длинными легкими пальцами, торчащая из стены. Просто из известки. Кажется, пальцы чуть-чуть шевелятся, не то манят к себе, не то гонят прочь. Меня немножко передернуло, стало холоднее. Уж слишком это было реально, как будто и вправду происходило со мной когда-то и где-то. Да ерунда, сны.

В сущности, третий этаж похож на шестнадцатый. В моем корпусе вообще все этажи словно неухоженные братья-олигофрены. Только на седьмом этаже коридор оклеен голубенькими обоями в цветочек, настолько не к месту, что одно время я всерьез намеревался их ободрать, но как-то отвлекся.

На каждом этаже есть что-то свое. Например, на четвертом – целый ряд безголовых бюстов, стоящих вдоль стены, а на восьмом – комнаты с толстыми канатами, закрепленными вместо люстр под потолком. На первом этаже все окна были выбиты. На моем этаже была выбита половина. Третий этаж на фоне этого хилого разнообразия выглядел еще серее и посредственнее остальных. Тут не было ни надписей на стенах, ни кафельных тамбуров, ни душевых, в которых иногда открывались все краны, ни подозрительных газовых труб. Просто комнаты, такие же нищие, как и везде, неизменный сквозняк в коридорах, который гоняет туда-сюда мятые газеты, флуоресцентки или подслеповатые лампочки в намордниках, тарелки радиоточек, а в комнатах – железные кровати, бумажный и тряпичный хлам, убогая мебель и пустые бутылки. Разве что кинозал, темная конура, доверху набитая железным ломом.

Я ходил по этажу вот уже битый час. Пожалуй, кое в чем он оригинален – здесь на редкость бредово пронумерованы комнаты. 1004 номер находился прямо рядом с 83. Еще две двери были без номеров, причем на одной кривыми буквами было написано «Мест нет», а следом – 583, 584 и 47. Кроме того, здесь невероятно исправно работали радиоточки.

– Номер третий! Номер третий, да выйди ж ты из строя! – приветствовал меня командный бас в одной из комнат, куда я завернул в поисках Черной Свадьбы.

Очень интересно искать то, что даже представить себе не можешь. Может, я уже три раза заходил в эту растреклятую 218-ю и видел Черную Свадьбу, но только не понял, что это. Может, это бутылка какая-то особенная. Даже видение змей, сплетающихся в узел, отступило – я был поглощен стихией поиска.

– Наехал на Черную Башню Роланд, – визгливый голосок радиоточки.

– ...который мне и говорит...

– ...и мы в сотый раз скажем «нет» агрессивной политике Альянса, направленной против мирных жителей, трудящихся во имя...

– ...трех стаканов муки вполне достаточно. Потом необходимо долить стакан сливками...

– ...и водой с вороньего крыла, после чего горшок следует закопать в полнолуние на перекрестке, обратив лицо к западу. Если после этого три ночи подряд приходить на этот перекресток и обращать молитвы к ночной всаднице, то она...

– ...неприменно приедет, и мы отметим еще один юбилей нашего завода.

Похоже, здешние радиоточки говорили взахлеб, перебивая друг друга. Я не стал к ним

прислушиваться. Это абсолютно бесполезно.

218 комната отыскалась сама собой. Я шел, лениво и безучастно глядя по сторонам, а потом коридор вывел меня к ней. Зеленая дверь из фанерного блина, тонкая и дребезжащая. Посреди комнаты – массивный хромо́й стол, весь исцарапанный и местами прожженный, куча ящиков и коробок в углу, а под ними – гора тряпок; железная кровать в другом углу. Радиоточки на стене не было. Хоть это радует.

Ничего необычного. Таких комнат сотни и сотни. А я ожидал хоть какой-нибудь каверзы – надписи на стене, забытой безделушки – ну хоть какой-нибудь необычной штуки. Ничего. Я еще раз прошел по комнате, пошатал стол, отчего тот заскрипел, сел на кровать и слегка на ней попрыгал – тоже ничего. Порылся носком ботинка в куче хлама – оттуда выкатилась безногая и безрукая кукла с удивительно глупым выражением лица, кроме того, там отыскились грязные бинты в желтых подтеках, стоптанный спортивный туфель и поломанная бадминтонная ракетка.

Из окна был виден уголок двора, тот, где свалены огромные трубы. Через Стену перехлестывали хлопья тумана. Я обошел комнату еще раз, потом присел на краешек стола и стал ждать. Может быть, это произойдет не сейчас, может, через несколько часов. Положил топор рядом и стал смотреть в стену. Удивительно успокаивает.

Кажется, я прогрессивно глупею. Дом отобрал у меня большинство мыслей и желаний, а те, что остались, не отличаются особым разнообразием, скорее, какой-то изобретательностью сумасшедшего. Я с удивительным упорством могу взламывать замки или выдумывать хитроумные блоки для подъема ящиков с консервами из затопленной секции подвала, но стоит мне задуматься хоть о чем-то важном (я даже не знаю, почему разные вещи вдруг становятся для меня ужасно важными), как мысли превращаются в рой мух, чудом доживших до ноября. Они тупо, упорно и слабо бьются в оконное стекло, пытаюсь выбраться в неведомую даль, толком не зная, что их там ожидает, но раз за разом стучатся лбом в невидимую стену. Так они постепенно слабеют и падают на пол.

Например, недавно я битый час лежал и вспоминал, зачем мне нужно выбраться наружу, и никак не мог понять. Просто назойливо гудела мысль – мне нужно выбраться наружу – и больше ничего. Мне стало страшно, потому что Дом посягнул на последнюю часть меня, которую еще не отобрал, – на мои мысли и желания. Пусть я не помню, кто я и почему я здесь, но пока я осознаю себя, пока могу хотеть чего-то, кроме еды, я все еще человек. Пока я помню, из-за чего я его ненавижу, он меня не победил. Поэтому память облетает с меня, уходит, утекает, остается лишь несколько островков, соломинок, за которые я хватаюсь изо всех сил.

Я помню боль, которую причинил мне Дом. Помню страх, без которого нельзя представить себе ни одного дня в Доме, помню унижение, отчаяние, безнадежность – в общем, почти все, из чего теперь состоит моя жизнь. А желания? Их осталось всего несколько: не умереть с голоду, не погибнуть по глупой случайности, отомстить Дому и, самое главное, выбраться отсюда. Еще – вспомнить. А может, вспомнить и выбраться – это одно и то же? Я могу сколько угодно думать об этом, представлять, как я доберусь до естества Дома, до его потаенной сущности, – доберусь и отомщу.

Сколько раз я представлял себе эту самую сущность! Почему-то я уверен, что она существует, что безумием Дома управляет кто-то. Может быть, это человек, злой и насмешливый гений, неведомо за что возненавидевший меня, может, огромный серый мозг, сочащийся влагой. Он висит, распятый на нитках нервов где-нибудь в затхлой подвальной комнате и бредит, и его вечная агония воплощается в Дом... А может, это старый колдун в изодранном балахоне (на фоне перегорающей электропроводки и неисправных холодильников он смотрелся бы наиболее дико, но в Доме возможно все) или разбухший мертвец, который бродит по этажам, до сих пор не замеченный мною, и своим прикосновением превращает время и пространство в кошмар.

Мне все кажется, что вот-вот, и я его найду, найду хотя бы его след. Я могу сколько угодно бегать по этажам с топором, стучать в запертые двери и сшибать репродукторы, могу

не спать по ночам, выжидая, когда же в коридоре раздадутся шаги, чтобы выбежать навстречу очередному невидимке, могу слушать радиопередачи и пытаться отыскать в них смысл, могу вести долгие разговоры с Собеседником. Дом не запрещает. Более того, он подбрасывает мне большие и маленькие пакости: пожары, наводнения, ночные визиты, да много чего. Но есть запретные области. Кое-что Дом охраняет свято. Окно на восточную сторону, туда, где, кажется, можно перебраться через стену, или подвал – я вспомнил случай с поджогом и поежился. Тут Дом посягательств не прощает и наказывает за них очень больно. А сейчас – Черная Свадьба. Что это – очередная милая шуточка или его уязвимое место? А может, просто выходки Собеседника. Похоже, что так.

Я сидел уже довольно долго, но ничего так и не произошло. За окнами стемнело. Кажется, начинается вечер. Я поднялся, взял топор и еще раз обошел комнату – без толку. Черная Свадьба... Да здесь все время какая-нибудь Черная Свадьба.

И только когда я вышел в коридор, я понял – что-то все-таки изменилось. Там была зловещая тишина – исчез шум и треск сотен радиоточек. Не помню, когда. Может, в одночасье, а может, они смолкали одна за другой, будто кто-то бродил по комнатам и выключал их. А потом за спиной хлопнула дверь. Я обернулся. Комната была закрыта. Подергал ручку, но дверь никак не поддавалась. Ведь помню же – изнутри не было ни защелки, ни щеколды. Заклинило, что ли?

Было тихо. Даже вездесущий сквозняк не дребезжал оконными стеклами и не гонял по полу газет. Я стукнул по двери кулаком. Она словно выросла в пол – даже не шелохнулась. Тогда я несколько раз лягнул ее, дверь дернулась, но только чуть-чуть, словно это было не хилое создание из крашеной фанеры, а крепостные ворота. Так я поупражнялся минут десять. Я пробовал высадить дверь плечом, колотил по ней ногами, потом стал ее рубить, отбил несколько щепок, но все без толку. Рахитичная дверь превратилась в монолит. Она стала не то стальной, не то резиновой, даже чуть-чуть пружинила под ударами топора, от чего тот с силой отлетал, норовя выскользнуть у меня из рук.

И тут из-за двери пришел звук. Я остановился и прислушался. Топот ног, не меньше двадцати пар, в комнату заходили люди, словно появлялись из воздуха прямо перед дверью. Потом были нестройные голоса и приветственные восклицания, шарканье – видимо, гости разувались, потом шорох и жужжание змеек – наверное, они снимали пальто и куртки. Изредка до меня доносились обрывки разговоров.

– А тут, это, таки, вот...

– Тапочки, тапочки, тапулечки...

– Ах, Паливаныч, да что же это вы такое говорите, – сказал женский голос.

– А мы всегда так, старая гвардия, – ответил мужской.

– Так к столу же, к столу!

– А где же Пеца? Почему нет Пецы? Он же обещал?

– Ах, ты что, не знаешь его вечные задвижки?

– Здравствуйте, – вдруг сказал кто-то, жуя и растягивая гласные, – вот наконец-то!

Потом они говорили еще что-то, я не разобрал, по-моему, рассказывали какой-то анекдот, довольно скабресный, потому что сначала густой бас что-то бормотал, видимо, кому-то на ухо, а потом, давась смехом, визгливо выкрикнул: «Сверху! Сверху, нет, ты понял!» – и раздалось ржание. Потом звуки отдалились, наверное, гости прошли к столу, а еще через секунду послышалось тарахтение отодвигаемых стульев, притом их тоже было штук двадцать, а столько стульев в комнате раньше не было, это точно. Гости усаживались и галдели.

– А ты чего у стенки?

– Стоишь, как засватанный. А может, и правда? Ты еще не женился, нет?

– Да нет пока, вот, Полина же не соглашается...

Это было явно шуткой, потому что снова послышалось ржание. Интересно, а почему Полина не соглашается? И кто она такая?

– Кто скажет? Кто скажет?

- Подожди, еще не открыли.
- А кто открывать будет?
- Тот, кто спрашивает. В армии инициатива наказуема.
- Да у меня же руки дрожат.
- Пить надо меньше.

Потом послышалось бульканье.

- Вот, вот, вот! – забубнили голоса.
- И вот, сейчас...
- Ой, мне еще, мне.
- Так кто же скажет, кто скажет, кто говорить будет? Ты?
- Нет, я после, я после второй.
- А я потом, я после зародителей, я пока посижу.
- Ну, давайте я.
- Давай, давай, скажи!

Я стоял в полном обалдении.

– Мы собрались здесь, – продолжил голос, который мог бы показаться мягким и вкрадчивым, если бы не чрезмерный надрыв, казалось, его обладатель вот-вот зарыдает, – за этим столом, в этой комнате, сегодня, на несколько минут, и никто не знает, сможем ли мы сойтись так еще раз, и свет этой свечи кажется сейчас настолько нереальным, что не верится, будто все происходит с нами на самом деле. Слушайте! Слушайте эту тишину, может быть, этого больше никогда не будет, ведь, кто знает, что случится с нами потом, встретимся ли мы когда-нибудь. Давайте просто посмотрим друг другу в глаза, ведь глаза... – тут голос как-то по-особому слезливо надломился. Я еще раз пнул дверь, но она была все так же непоколебима. – Глаза никогда не лгут, ведь каждый из нас испытывает сейчас какие-нибудь чувства ко всем остальным, может быть, это дружба, может, любовь, а может быть, в целях улучшения качества продукции, необходимо полное преобразование узлов 5 и 12, с заменой муфт под номерами 3А и 8Д и последующей прочисткой системы сжатым воздухом. Кроме того, необходимо проверить систему охлаждения. В целом, процесс модернизации соответствует графику, а расходы на него полностью укладываются в контрольную смету.

– Молодец! Вот это сказал, вот это сказал, это ж надо так здорово! – одобрительно загудели голоса.

Потом было какое-то мокрое хлюпанье и шлепанье, видимо, это падал в тарелки салат.

- Позвольте, я за вами поухаживаю.
- Тебе салат?
- Нет, мне этих, зеленых, и вон того, бурого.
- Вторую открывайте, вторую.
- Нет, мне белой, прозраченькой.
- Ну, ты, блин, и даешь!
- Встретил одного мужика, а он...
- А вот еще один раз были мы с ним, скажи, Вовчик. Ведь это мы с тобой тогда были, ты помнишь...

- ...сто процентным идиотом.
- Очень миленький такой фасончик, весь в цветочек.
- А я ей говорю, что это не ее дело, я же имею право на собственное мнение, в конце концов, а она смотрит так презрительно и отвечает: «Это ты и твоя компания думаете, что лучше всех, с самого начала стараетесь доказать, что вы умнее».

- ...двух будет недостаточно.
- ...а он все бежит туда-сюда, да где ему понять, крыса загнанная.
- Да, давайте.

Раздалось чье-то кряхтение под одобрительные возгласы, а потом хлопок. Взвизгнула женщина.

- Вот так надо, чтобы в потолок, в потолок.

– А ты еще тогда говоришь – ну, не надо же так жестоко, а я тебе – ничего, пусть учится.

– Вот, смотри, это Люся. А мы с Люсей совсем как сестрички, она и я, мы друг другу все-все рассказываем, – сказал уже довольно пьяный женский голос и глупо захихикал.

– Ну, давайте я скажу.

– Скажи, скажи.

– О-о, наконец, а я все жду, когда же она скажет.

– Люди, я не очень умею красиво, вот как он. Я скажу просто, вот как мы здесь все сидим: народ! Отдыхайте!

– Ого-го! А можно твой телефончик?

– ...две части водки, одна коньяка...

– И я о том же.

– Пересекутся ли наши пути, менестрель, – вдруг сказал знакомый голос с надрывом, притом нарочито громко, так, что мне показалось, будто он обращается к кому-то, кого сейчас нет за столом или даже в комнате.

– ...и два гвоздя сверху.

– Да, так вот, сидим мы, ждем, а его все нет, и Пеца говорит – ну, блин, чего же его все нет...

– А мы тебя ждали, а ты не пришел, помнишь...

– На то был свой дифференс.

А при чем тут дифференс, хотел бы я знать?

– Третью давай, третью!

– Дык это уже шестая...

– Черви, черви, гниль и черви...

– Обломись ты, говорю ему...

– Ну, наливай, наливай, не томи.

– А вот тебе уже хватит, – сказал металлический женский голос.

– Да я только начал, что ты, что ты, – ответил дрожащий мужской.

– А давай на брудершафт, это так здорово...

Потом кто-то зашел, и все заорали:

– Горячее! Горячее!

Кто-то прогрохотал к столу, донеслось звяканье отодвигаемых тарелок. Потом на стол опустилось что-то тяжелое.

– Ой, а мне вон тот, тот кусочек.

– Такой весь из себя...

– А она еще с ним встречается?

– Нет, послала давно, и правильно, я всегда говорила.

– А с кем она встречается?

– С каким-то чучмеком.

Некоторое время все молчали, слышалось бульканье и чавканье.

– И добавь уксуса...

– ...недостойно тебя. Ты связался со всяким отребьем, все твои друзья отвернулись от тебя из-за этого...

– ...шляешься туда-сюда, блядь, а надо просто...

– ...и делом заниматься, делом, а не херней!

– Так вот, там было шесть бутылок, и все попадали под стол, и под конец за столом остались только вот мы с ним, скажи, правда?

– Ах ты... Ах, сука... Я... Да я ща...

– Че ты, че, слабо, да? Заело, да?

– Мальчики, мальчики, не надо...

– Не, ну ты нарвался...

– Ща посмотрим...

- Ну-ну, пацаны, че вы, че...
- Да ладно, не порть вечер.
- А мне вообще пофиг.
- Да че там...

И тут по ушам ударила тишина. Больше не было застольных разговоров, звона, бульканья, шарканья, кашля, чавканья, мягкого шлепанья еды, бормотания, смеха, звона посуды. Остался только ритм моего сердца и неровное дыхание. И, словно под его напором, дверь передо мной приоткрылась сама по себе. Заскрипела и стала слегка раскачиваться на незаметном сквозняке. Я шагнул внутрь.

Все стало черным: потолок, пол, стены. Стол сгорел, весь пол был покрыт углями и головешками, посреди комнаты возвышалась большая куча белесого пепла. Оконная рама тоже обгорела, но стекла даже не потрескались. Линолеум превратился в тонкий слой спрессованного пепла. Кровать в углу стала грудой оплавленного и искореженного железа. Потолок был весь в черных разводах сажи, местами штукатурка отвалилась. Шнур электропроводки оплавился, от стен, тоже угольно-черных, пластинами отходила взбулгившаяся краска. Вместо кучи хлама в углу была груда углей. Больше в комнате не было ничего.

Кажется, здесь часа три бушевал сильнейший пожар. А дверь даже не нагрелась. Я поднял головешку. Она тоже была холодная. Пахло дымом. Я вышел вон.

* * *

Я возвращался из хранилища, нес ужин и немного на завтрак. Сегодня мне крупно повезло – я нашел новое хранилище на пятом этаже, в радиорубке. Наконец-то я добрался до давно приглянувшейся дверцы. Неприметная такая узкая дверь, похожая на стенной шкаф. Радиорубка изогнута буквой Г, и дверца как раз в торце, за углом. Я пробовал ее открыть сразу, как нашел радиорубку, но тогда со мной не было топора. Потом случилось много всего, и я забыл об этой двери. Но вот уже неделю, как я доедал три последние банки тушенки.

В душевой комнате – это за две двери до меня – кафельный пол. Я принес туда несколько кирпичей. Кирпичи я нашел на своем же этаже, на лестничной площадке, под брезентом, их там оказалась целая куча. Я сложил из них простенький очаг и накрыл его решеткой, которую выломал из старого холодильника (холодильников на моем этаже ужасно много – чуть не в каждой комнате – и ни один не работает). Получилась великолепная плита. Потом я пошел в актовый зал и порубил три кресла, наколот щепы, набрал газет побольше, вытащил заветную бутылку уайт-спирита и развел в плите огонь. Спички я ношу с собой всегда. На этом огне я сварил дивную баланду из тушенки и муки (ржавая такая банка была в старом хранилище, а в ней несколько пригоршней муки и гвозди на дне). На эту баланду и пошли все три банки. Если уж я за что-нибудь берусь, то с размахом. Потом праздник кончился, баланду я съел удивительно быстро, а на следующее утро после того, как опустела кастрюля, выяснилось, что в старом хранилище воцарился вакуум. Куда-то делись три воблы, лежавшие на верхней полке, исчезла большая банка с джемом и несколько жестянок абрикосов, а я на них так рассчитывал. Вместо них на полке я нашел пару ободранных дворницких варежек. Видно, растреклятые карлики все растащили.

Я кинулся на поиски. За три дня я облазил восемь этажей, заглядывал во все двери, которые смог открыть или взломать, но нигде не нашел ничего даже похожего на еду. Несколько раз, правда, сильно пахло колбасой. Когда проголодаешься три дня, обоняние обостряется до невозможности. Я знал, что никакой колбасы здесь быть не может, – вся пища в Доме – консервы, в лучшем случае, вобла весьма сомнительного качества и доисторические сухофрукты. А тут пахло сухой колбасой, и от этого запаха я чуть не взбесился. Я бегал по коридорам (это было на восьмом этаже, там, где из окон видны шестой

и четвертый блоки) и заглядывал в комнаты. В одной из них на полу была гора стоптанных ботинок, еще в одной – чучело осла на маленькой подставке. Осел был какой-то ошипанный и безучастный.

В остальных все неизменно: железные кровати, некоторые почему-то перевернуты, вечные тарелки радиоточек на стенах, мутные стекла. Туман выдался особенно густым. Он похож то ли на дым, то ли на мутную воду. Кое-где на полу были кучи золы и какое-то тряпье. На стенке в одной из комнат – огромный пожелтевший плакат с безразмерным дяденькой, а у дяденьки в руке вилка совершенно сатанинского вида, и на ней дымящийся кусок чьей-то плоти. Под всем этим шедевром надпись внушительными красными буквами, которые почему-то не выцвели: «Не переедай». Дом развлекался. Милые шуточки.

И вот мне повезло. С утра бродил с топором и изредка лупил в запертые двери, прорубал в жиденьких досках дырки и заглядывал внутрь. Ничего похожего на хранилище я поначалу не находил. Большинство запертых дверей на пятом этаже (не знаю, почему я выбрал именно этот этаж) вели в такие же пустые однотипные комнаты, разве что некоторые были темны, словно бы в них вовсе не было окон. Там пахло затхлостью, заплесневелым тряпьем и старой бумагой.

Еще была комната, забитая поломанной мебелью, посреди нее, как корабль во льдах, возвышался монолитный комод с огромными дырками в стенах и дверцах, как будто его кто-то грыз.

В одной из комнат на полу рядом с кроватью был рисунок мелом. Мне стало любопытно, и я вошел. Та же железная кровать с проволочной сеткой, радиоточка на стене, в углу – куча пустых пыльных бутылок, почему-то накрытых ватником. Все покрашено знакомой истерично-зеленой краской (по-моему, этот цвет называется салатovým, но для меня он – просто тошнотворный). Все было так же, как и в сотнях других комнат, вот только на полу возле кровати мелом расчерчены классики. Детская игра такая, чтобы прыгать. Вот-вот. Я так и сел. Обошел эту картинку. Оглядел со всех сторон. Цифры были кривые, линии дрожащие, будто рисовал их ребенок, едва научившийся писать. Были там, в частности, «4» и «7» в зеркальном отражении. На одном конце рисунка к квадратам был пририсован полукруг с расходящимися в стороны кривыми палками, и написано «Солнце».

Не знаю, что на меня нашло. Я как-то хихикнул вслух, отшвырнул на кровать топор и рюкзак (там громыхнули отвертка с молотком; после того, как Дом запер меня в бойлерной, я стараюсь с ними не расставаться) и стал неуклюже прыгать с цифры на цифру. Сначала медленно, потому что не знал, что делать, а потом все быстрее, громко топал башмаками, втапывал мел в дешевый рыжий линолеум. Потом я уже просто прыгал на месте, растирал дрожащие кривые линии на полу, намертво давил их, добивал, а в висках стучало, кажется, я что-то говорил сквозь сжатые зубы, может быть, ругательства. В дальнем коридоре что-то упало и разбилось, но мне было все равно. Так я прыгал, не знаю, сколько, становясь все злее и злее, и не переставая кричал и ругался. Потом вдруг замолчал, потому что оказалось, что я топчу солнце. Стало ужасно тихо. Вместо классиков на полу осталось размазанное белесое пятно. Я понял, что очень устал, взял топор и рюкзак и пошел к выходу. Почему-то я был совершенно уверен, что теперь найду что-нибудь интересное, но это была какая-то вялая уверенность.

Радиорубку я взломал давным-давно. В общем-то, никакая это не радиорубка – просто комната, узкая, длинная и изогнутая, в которой висит сразу пять тарелок-радиоточек, много столов какого-то технического вида, казенных и неухоженных, словно пьющий вахтер. В углу, подле окон, стоит непонятный пульт с латинскими буквами и трехзначными цифрами. Впрочем, толку от него мало, поскольку всю начинку из него выдрали, осталась только панель управления и паутина внутри.

Когда я зашел в радиорубку, все тарелки разом включились. К счастью, только фон. Ничто так не раздражает, как радиоточка, бубнящая над ухом, особенно если ты занят важным делом. Ничего, будем шарить под шум и треск. Я прошел, нарочно не оглядываясь по сторонам, – это назло, плевал я на ваши радиопередачи. Маленькая дверца полностью

оправдала мои ожидания. Там, за ней, оказалась каморка, а в ней – стеллажи с консервами. Самые разные банки, не меньше пятидесяти штук. Я подпрыгнул от радости. Несколько банок я вскрыл тут же, прямо на месте, одну, кильки, просто с голоду. Эти рыбы трупы, вперемишку лежащие в болоте помидорной крови, – нет, за всю историю мира не выдуман ничего лучше, чем банка килек вовремя. Я их моментально съел, прямо руками. Еще несколько банок без этикеток я вскрыл на пробу. Был случай, когда Дом подсунил мне кладовую, в которой все консервные банки были набиты песком. Но ничего, сейчас там оказался томатный сок. Великолепно. Я решил упаковаться под завязку. Взял с собой пять тушенок, десять каких-то рыб, а сверху бросил несколько томатных соков и сгущенок. Все. Снова пойду в актовый зал, наломаю там досок, и вот на этом топливе приготовлю себе чудесную тушенку в томатном соусе.

Рюкзак оказался совершенно неподъемным, вот-вот порвутся лямки. А мне еще лезть к себе, на шестнадцатый. Я пойду черным ходом. Последний раз, где-то с неделю назад, когда я поднимался по основной лестнице, случилось неладное. Шум воды я услышал где-то между восьмым и девятым этажом, но не придавал этому значения, мне все казалось, что вода шумит внизу. Я перегнулся через перила и стал смотреть вниз, и поднял глаза в последнюю минуту, чтобы увидеть стену воды, которая показалась мне огромной. Она неслась мне навстречу сверху, по лестнице. Казалось, что Дом тонет, но только с обратной стороны. Волна ударила меня, сбила с ног, понесла вниз, ударяя о ступеньки. На лестничной площадке она припечатала меня к стене, и я стал тонуть, потому что она накрыла меня с головой. Поначалу я старался не открывать рот, но не получилось, и я наглотался. Я стал захлебываться, и было очень холодно. Я попробовал было приподняться, но не смог – вода давила на меня, как гранитная плита, а, кроме того, я сильно ударился о стену. Стало очень темно, и я понял, что это погасли флуоресцентные лампы, а, может, я потерял сознание, и я не знаю, сколько пролежал вот так, под водой, но потом вдруг оказалось, что я сижу спиной к стене на лестничной площадке, мокрый и продрогший, а кругом лужи.

Подниматься было больно, я все-таки здорово ушибся. С тех пор я перестал ходить по основной лестнице – стоит мне на нее ступить, как я слышу шум воды. Тогда я отбегаю в сторону, в коридор, за угол, и стою, прислонившись лбом к стене, чтобы как-то успокоиться.

Вот и сейчас я поднимался по запасной лестнице. Туман немного рассеялся, и день за окнами был желтоватый. Из одного окна я выглянул. Видно было Стену. Я хотел рассмотреть тот участок, где я пытался перелезть, но не смог. Она безнадежно одинаковая, эта Стена, если смотреть на нее издали.

Поднимался я очень долго, когда добрался до шестнадцатого этажа, еле держался на ногах. Теперь надо найти свою комнату. Удивительное дело! Всегда, когда я находил что-нибудь полезное, – еду или инструменты – Дом перепрыгивал комнату, и приходилось часа три плутать по всему этажу. Я знаю, что окна моей комнаты выходят во двор, а сама она – крайняя, а за две двери от меня – душевая. И я петлял по знакомым, но незаметно изменившимся коридорам, а сквозняк гнал за мной следом мусор.

Да, еще. Поблизости от моей комнаты краска на стене облупилась, трещина похожа на молнию. Но сегодня ничего подобного не было. Коридоры остались прежними, было тихо. Кажется, будто я иду по барабану, так гулко звучат мои шаги. На полу у окна желто-серебристый прямоугольник света. Флуоресцентки не горят, ведь еще день. Воздух очень влажный. Тихо-то как. Даже перестука капель из кранов в душевой нет. Засосало под ложечкой, и я понял – сейчас что-нибудь будет. Опять я за старое. Снова показалось, будто кто-то стоит за спиной. Я обернулся. Ясное дело, никого. Да ведь это сердце у меня колотится, вот что. Я взялся за ручку двери своей комнаты и потянул.

Когда я их увидел, они висели неподвижно, в едином взмахе. Я сначала не понял, что это, но все-таки успел прикрыть глаза рукой – привычка такая. Птицы. Целая стая огромных серых птиц, вроде чаек, а, может, и правда чайки, они висели в воздухе, напротив двери, ожидая меня, а потом, увидев, сорвались с места, и тишина лопнула гулким шумом крыльев и визгом.

Они накинудись на меня все сразу, били крыльями по голове, рвали одежду и кожу когтями, так что шее сразу стало тепло – это кто-то из них целился в лицо, но я увернулся. Чей-то клюв, словно тупой гвоздь, воткнулся в правое плечо. Я не удержался на ногах, упал на спину, закрывая лицо руками и прижимая колени к животу. Сейчас надо перевернуться, подставить им спину, главное – беречь глаза. Мысль оказалась деловитой, назойливой, но я все равно ничего не смог сделать. Я никогда не думал, что птицы такие сильные. Удары их крыльев почти оглушили меня. Я оттолкнулся ногами от стены и перекатился к противоположной стене коридора, а меня били, клевали и рвали когтями.

Неужели все кончится так глупо? Я не закрывал глаз, только прикрыл их пальцами. Я видел бессмысленную ярость в их зрачках – это просто так, от рождения, – их желтые разинутые клювы, у некоторых испачканные красным, моей кровью, их огромные крылья и когти, и перья, их самих – серых крылатых демонов. Они кричали, пронзительно и зло, и я тоже кричал, хрипло, очень громко, так громко я давно не кричал. Я пытался перевернуться или встать на ноги, но не мог, так сильно и неожиданно они меня били. Я зажмурился.

А потом все исчезло. Разом стих визг, и меня уже никто не клевал. Я открыл глаза. По коридору, в дальний конец, прочь от меня, летело штук десять больших серых птиц, мерно и бесшумно взмахивая крыльями. А когда они долетали до поворота, они падали на пол, на лету превращаясь в какие-то лохматые комья. Я поднялся, цепляясь за стену, и пошел туда.

На полу лежало несколько куч пепла, по-видимому, от сгоревшей бумаги. Наверное, газеты. И точно – вот сохранившийся листик – на нем тускло проступали слова «прогресс» и «наверное». Потом по коридору потянуло сквозняком, и он разметал пепел. Серебристые струйки закрутились у моих ног, а после их понесло дальше, куда-то к лестнице.

Я сполз по стене на пол. Мне было стыдно оттого, что я плачу, но я не смог удержаться. Мне больно, я устал, безумно устал, мне одиноко и страшно, а тут еще эти огромные птицы, которые на лету сморщиваются, чернеют и бесшумно падают на пол кучей сгоревшей бумаги. Я теперь не смогу спать. Мне страшно, мне очень страшно. Мне страшно.

Я сидел долго. Сквозняк разметал золу, испачкал меня сажей. Сейчас надо бы пойти, умыться, посмотреть, насколько сильно меня поранили эти твари, потом надо поесть, но я не мог заставить себя подняться. Я сидел, пробовал свою кровь на вкус – у меня разбиты губы и, кажется, рассечена бровь – мерз, и мне было ужасно пусто. Пустота – естественное состояние Дома, но я до сих пор не могу к этому привыкнуть. Вот сейчас мне пусто, и от этого еще страшнее, чем от стаи птиц, которая кидается в лицо. Ну как они оказались в комнате, как? Ведь окно закрыто, а дверь я запер, и как им удавалось неподвижно висеть в воздухе, ожидая меня? Хотя, это глупо, задавать такие вопросы в Доме. Здесь ничего нельзя объяснить.

Потом я пошел в душевую. Вода, к счастью, была. Тонкая ржавая струйка, но хоть что-нибудь. Я долго умывался. Пустяки: царапина на лбу, несколько ссадин на шее. Хуже всего – правая рука, ее здорово поклевали. Я нашел три глубоких раны. Разорвал в клочья цветастую рубашку из кучи хлама в коридоре. Рубашка эта показалась мне более чистой, чем остальные тряпки, вот ею я и перевязался.

Кажется, мое отражение в зеркале снова помолодело. Теперь мне лет двадцать, не больше.

А потом я сидел в душевой на полу и подливал в костерок уайт-спирита, отчего он поднимался ввысь, шипел и взрывался. Я поглядел в темноту за маленьким мутным окном. Ночь.

* * *

Надо обязательно запомнить, как дрожат на ветру хрупкие ржавые кости антенн, а с неба падают первые капли дождя. Еще я видел двор сверху. Сегодня все-таки выбрался на крышу, это оказалось совсем не так сложно – железный люк, который, как я раньше думал,

приварен намертво, оказывается, просто приржавел. Я промучился с ним полчаса и все-таки открыл. В глаза посыпалась ржавая труха, пыль и какие-то серые хлопья, люк оказался удивительно тяжелым, я изогнулся и открыл его даже не руками, а как-то спиной, сам не знаю, как. При этом я чуть не свалился с лестницы. Она очень плохая: две трубы, к которым кое-как приварены тонкие прутья, под ногой они ощутимо вибрируют и прогибаются. Пока я открывал люк, все боялся, что упаду с лестницы на площадку, или, хуже того, через перила – и еще на пролет ниже. Я вертелся, как воробей-переросток, упирался в люк руками и плечами, ощутимо краснел и потел, а мои позвонки терлись друг о друга и хрустели, а перед глазами стояло одно: вот я слишком сильно напираю на люк, и мой правый ботинок теряет опору, соскальзывает со ступеньки, еще секунду я стараюсь удержать равновесие, цепляюсь рифленой подошвой за пустоту, беспомощно шарю пальцами по потолку, все никак не могу догадаться, что сейчас нужно пригнуться и ухватиться за лестницу, ведь мысли вдруг стали неповоротливыми, вертятся только вокруг соскользнувшего ботинка, а потом пустота, и только уши закладывает, но это недолго, ведь я не разобьюсь насмерть, я упаду на ступеньки лестничного пролета, уходящего вниз, на пятнадцатый этаж, осколки ребер проткнут легкие, и кровь пойдет изо рта, станет трудно дышать, и я перестану чувствовать ноги, потому что сломаю позвоночник, и еще, может быть, я обделаюсь. Ой, нет. Не надо. Я изо всех сил гнал от себя это видение – я, как большой червяк, ползу вверх по лестнице, волочу за собой ставшие чужими ноги с неуклюже подвернутыми стопами в огромных ботинках, подбородок у меня в крови. Ой, нет, нет. Я даже фыркнул, сплюнул вниз. Руки вспотели, от ладоней на известке остаются сероватые отпечатки, и вот, наконец, над головой что-то закрипело. Люк открылся, и я по инерции почти выпрыгнул на крышу, вылетел туда, как пробка.

Раньше я бывал на крыше всего несколько раз – люк я открыть не мог и потому поднимался по пожарной лестнице. Она тянулась к крыше от шестого этажа, и из окна одной из комнат шестнадцатого этажа до нее почти можно было дотянуться. Если не смотреть вниз. В те разы я пользовался хитрой конструкцией из веревки и пучка изогнутых прутьев: лежа животом на подоконнике, максимально вытянувшись наружу, я забрасывал кошку на лестницу, пока прутья не цеплялись за перекладину, потом привязывал конец к радиатору, делал несколько глубоких вдохов и выходил на карниз, держась за веревку. Карниз на шестнадцатом этаже широкий – сантиметров двадцать. Теперь главное – не смотреть вниз, вот так, лицом к бетону, правая рука шарит по стене, левой я цепляюсь за веревку, прижимаю ее животом к стене. Теперь три шага, всего три, ну, ведь если представить, что я на земле или хотя бы на карнизе второго этажа, это совсем просто. Раз, два, три – и все. Но я на шестнадцатом этаже и не могу забыть об этом ни на секунду. Ноги от этого ватные, и так тянет посмотреть вниз, а этого делать нельзя. Потом, после неизмеримо долгого пути, я хватался за лестницу, и все было хорошо. Были ветер и высота, и хрупкие кости антенн, и можно было танцевать танец со смертью наедине, на краю бездны, навстречу туману. Все будет хорошо.

А в последний раз, возвращаясь назад, я увидел, что кошки с тросом нет. Вернее, они были – веревка свисала из окна, а кошка качалась на ветру, где-то на уровне окон четырнадцатого этажа. Я быстро вполз обратно на крышу и там долго не мог признаться себе, что сейчас придется возвращаться. Почему-то тогда я не подумал о люке. Я был просто уверен, что он заварен.

Я боюсь высоты. Боюсь мучительно, до дрожи в коленках, до боли в животе. Это еще одна новость обо мне. Когда я оказываюсь наедине с нею, меня так и тянет сделать еще один шаг, перемахнуть через перила, перешагнуть парапет, спрыгнуть с подоконника, да что там, я боюсь этого, до мути в голове, а ноги сами несут меня, все ближе и ближе, чтобы я смог дойти до самой границы страха, туда, где он вот-вот превратится в забытие. Я очень боюсь высоты и поэтому ищу любой возможности с ней столкнуться.

Так вот, потом я снова спустился на карниз. Не помню, как шел, помню только, что день был серый-серый, накрапывал дождь, а у меня ужасно вспотели ладони. Потом я долго

сидел у себя в комнате на кровати и уныло думал одну мысль – больше я так не могу. Значит, придется искать другой путь.

Я очень люблю выбираться на крышу. Это каждый раз маленькая победа, моя победа. На крыше силы Дома как будто слабеют. Конечно, он вездесущ, и здесь я тоже в его власти, но все же на крыше мне спокойней и даже легче. На крыше я иногда не боюсь – это удивительное чувство, как будто где-то под сердцем разжимается деревянный кулак, и можно вдохнуть полной грудью. Там лес антенн, тонких и ржавых, словно паутинных, и черный рубероид, на стыках листов налиты застывшие лужи смолы, и почти никакого ограждения, только низенький, по колено, парапет, а за ним шестнадцать этажей свободы. Нет сквозняков, газет, радиоточек, отдаленных голосов и шагов, только ветер, иногда такой сильный, что трудно выпрямиться в полный рост. И еще с крыши можно разглядеть двор и Стену, и другие корпуса. Вот самый ближний – серая и неуклюжая десятиэтажка, вытянутая буквой С, унылая до безумия, а еще чуть подальше – две одинаковых шетиэтажки стоят друг напротив друга и даже соединяются двумя переходами на втором этаже (не помню, как это называется, может галерея, но я не уверен). Дальше уже трудно разглядеть. Есть еще несколько высоких зданий, не то в двенадцать, не то в четырнадцать этажей. На плоской крыше одного из них установлена огромная антенна – ажурный шпиль, уходящий куда-то вверх. Его верхушки почти никогда не видно. Я там никогда не бывал. Я вообще был только в соседней десятиэтажке и еще пару раз в шестиэтажных близнецах. А зачем мне что-то еще? Просто я знаю, что всего корпусов восемь, и у них есть невразумительные коды-обозначения, и у каждого как будто есть своя функция. Мой, например, – Аккумулятор. Есть еще Преобразователь, Имитатор, Инвертор, Выпрямитель, Репродуктор, Инициатор, Альтератор. Так, во всяком случае, пишется в Руководстве по Чрезвычайным Ситуациям.

Начинался дождь. Пока еще редкие капли, холодные и невидимые, летели откуда-то сверху и оставляли на лице влажные следы. Казалось, что я плачу. А может, так и было. Не помню. Я ловил капли ртом, но у меня не получалось. Дрожали антенны. Потом дождь пошел вовсю, стал шуршать по рубероиду и скапливаться в лужицы. Сейчас начнет течь потолок в моей комнате, и когда я вернусь, весь тряпичный хлам будет хоть выжимай, так что спать мне негде. О том, чтобы спать где-нибудь, кроме своей комнаты, и речи не было. Во-первых, не засну, это я уже пробовал, а во-вторых, даже если засну, Дом до утра будет изводить меня кошмарами и еще чем похуже. В общем-то, кошмары будут, даже если я останусь в своей комнате, но там хотя бы сердце не будет останавливаться. Ведь был же случай.

В тот раз я долго копошился в затопленном подвале, вытаскивая из-под воды очередной ящик с консервами (получалось обидно – за день я вытащил уже три ящика, полных железными банками, но во всех оказались пепел и песок). Я соорудил страшную конструкцию из палок и веревок и теперь лежал над черной водой в чем-то вроде гамака из старых одеял, пытаюсь поддеть очередной ящик, смутно видневшийся где-то на дне, удочкой из толстой веревки и проволочного крюка. Когда мне это, наконец, удалось, я зацепил веревку за два колесика от детской коляски, присобаченных к старой кровати (кровать помещалась как раз на площадке лестницы, спускавшейся в воду. Мой конструкторский гений иногда внушает северный ужас мне самому). Потянул. По идее, должно было сработать, в голове крутились слова «вектор», «момент силы» и почему-то «несинхрон». Но не сработало. Когда я дернул за веревку, упершись ногами в пол, та с басовым жужжанием порвалась, а кровать, повинаясь неведомо каким законам силы, подалась вперед и резво запрыгала по ступенькам, уходя под воду, потом свалилась на бок и вовсе скрылась из виду. Я плюнул, выругался последними словами и пошел прочь оттуда.

Я был весь мокрый, уставший, есть было совершенно нечего вот уже два дня, к тому же, успешно стемнело, и подниматься к себе не хотелось. Поэтому я подыскал себе на первом этаже комнату потеплее и устроился там. Разбитое окно вполне компенсировалось двумя демисезонными пальто, из которых я свернул что-то вроде кокона. Комната была

самая обычная, с хламом, поломанными стульями и железной кроватью с сетчатым матрасом. Допоздна заливалась радиоточка, выводила что-то гнусавым голосом на языке, которого я не знал. Потом меня сморил сон.

Мне снилось, что я стою на верхней ступеньке лестницы, той самой, подвальной. Она уходит под воду, черную, непрозрачную. Вода доходит мне до щиколоток, и я чувствую, что она просто ледяная. Потом я делаю шаг и спускаюсь на ступеньку ниже. Я не хочу этого, хочу закричать, пытаюсь хотя бы разжать губы, но не могу, потому что весь я из пластмассы, вместо глаз у меня синие стеклянные шарики, а выкрашенные нежно-розовым губы навсегда сложились в самодовольную улыбочку. Я ничего не могу сделать. У меня не гнутся пальцы, не шевелятся руки. Я ничего не могу сделать, но все чувствую. Я чувствую, как скользят под ногой поросшие черными водорослями ступеньки, чувствую холод воды, но ничего не могу изменить и опускаюсь все ниже и ниже. Я совсем ничего не могу сделать, я не владею собой, только сейчас понял, насколько же это страшно.

Вот я уже на середине лестницы, и вода по пояс. Не знаю, что будет дальше, не знаю, перестану ли я дышать под водой, потому что не слышу своего дыхания даже сейчас. Еще я не чувствую сердца. Как, оказывается, я к нему привык. Оно всегда тут, рядом, трепещет тугой птицей, колотится о ребра, а тут его нет. Абсолютная пустота. Я пуст изнутри, мне остались только страх и холод. Вот вода уже по грудь, теперь по шею, а я все так же полуулыбаюсь и не могу закрыть глаз. В воде скрываются подбородок, рот, нос. Последняя ступенька – и я тону. Тону, тону, тону.

– А-а-а-а-а! – непосильное напряжение вытолкнуло меня из сна, согнуло пружиной, и я не то спрыгнул, не то скатился с кровати.

Сон. Кошмар чужой комнаты, ну, как я сам не догадался. Лицо стало мокрым от пота, рубашка и штаны прилипли к телу. Я сел на пол, спиной к ножке кровати, и попробовал успокоиться.

Кстати, а почему у меня не шумит в голове? Всегда, когда я просыпался от кошмаров, а ведь это почти каждый день, у меня в голове как будто паровой молот, нет, наверное, я просто слишком испугался, я этого просто не чувствую, пусть будет так, что я еще не совсем проснулся, пусть будет так, что я этого просто не чувствую. Мне кажется, мне кажется, мне только показалось, не может быть, я бы давно умер.

Вот только не надо врать самому себе. Я же знаю, что может. Еще как может.

Я засунул руку под рубашку. Кожа холодная и влажная, значит, это уже давно. И я успел остыть. То-то ноги меня так плохо слушаются. Да я же просто коченею. А там, в груди, – ничего, пустота. Непрочный остов ребер, а под ними – остановившееся сердце. Оно покоится там, словно труп ребенка, и тоже, наверное, остывает. Я никогда не мог подумать, что это бывает именно так.

В первые секунды я не знал, что делать, просто сидел, разом сделавшись ко всему безучастным, рука упала, перед глазами поплыла муть, а в ушах – серебряные колокольчики. А потом я вспомнил Ненависть, свое заветное слово, своего ангела. Да, я не позволю ему вот так разделиться со мной, остановить, как останавливают часы. Пока у меня есть ненависть, я не сдамся. Я должен, должен во имя этой боли, которая вечно внутри, которая и есть я.

Я вскочил и стал бить себя кулаком в грудь, туда, где спало сердце. Сейчас, сейчас, я тебя заставляю, я тебе приказываю, я же знаю, ты не можешь предать меня теперь. Потом я обнял себя, сильно, с размаху, чтобы руками сдавить грудную клетку, хоть немного сжать сердце, попробовать его разбудить. Нет, я не уйду вот так просто, не стану еще одним из твоих привидений. Пока у меня есть Ненависть и Боль, ты меня не возьмешь. Еще, еще и еще раз, теперь подпрыгнуть. Я бросился грудью на спинку кровати и не почувствовал боли, потом снова ударил кулаком, еще и еще, ну, просыпайся.

Кажется, я слабею все больше. Вот уже и ноги заплетаются, а руки поднимаются еле-еле, как во сне, удары выходят вялыми, я их почти не чувствую. Но нельзя, нельзя падать. Упаду – больше не встану.

Еще раз обхватил себя, широко размахнувшись, потом отклонился назад, вдохнул в

полную силу, так что больно стало легким, потом нырнул вперед, выдыхая и обхватывая себя руками с размаху, так, чтобы локти ударились о ребра. Не удержался на ногах, упал, только успел подумать, что глупо, глупо, глупо, ведь так и не успел вспомнить, а надеялся, что хоть сейчас...

В груди у меня что-то вяло шевельнулось, потом еще и еще раз, а потом заколотилось, быстро, сбивчиво, разгоняя кровь, возвращая жизнь, и с жизнью вернулась боль. Болело все, каждая клеточка. Меня словно разрывало на части, и голова наполнилась огнем, в ней молотком бил пульс. Я лежал на полу еще очень долго, дышал тихо, чтобы унять боль, и смотрел на пятна серебристого ночного света на полу. Боль отпустила только к утру.

Что-то я задержался на крыше. Дождь лил, я смотрел в небо и пробовал угадать, где же сейчас солнце. Я его ждал, а туман переваливался через Стену. Он обступил ее, густой, как молоко, как мутная вода, и переползал через колючую проволоку клоками, а потом за Стеной его прибыло, и он потек, уже ничего не стесняясь, во двор, переполняя его, наливая собою доверху, и так по всему периметру. Сейчас он поднимется до окон первого этажа, а затем, с наступлением темноты, доберется до верхних этажей, полезет ко мне в окно. Жди беды.

ЗДАНИЕ

Часть первая

Отзвуки

Государыня,
Помнишь ли, как строили дом –
Всем он был хорош, но пустой...

Б.Г.

Круг замкнулся. Я ведь знаю, что когда-то уже была здесь. Только где это – Здесь?

* * *

Вода капает. Шлеп, шлеп, шлеп... Падают тяжелые ленивые капли и с глухим звуком зарываются в потрепанный ковер. Я лежу на диване, он как будто похудел от долгого поста и вот-вот не выдержит моего веса. Но выдерживает. Потому что я похожа чем-то на его диванную колченогость и выпирающие пружины. Точно так у меня выпирают ребра. В этом Здании обязательно надо быть похожей на что-то, иначе никак нельзя. Кажется, это называется мимикрия. В этом Здании обязательно что-то надо, и что-то категорически, и что-то должна. В этом Здании сейчас ночь.

Мои мысли похожи на свихнувшийся поезд. Он скрипит железом по оконному стеклу, так, что каждая жилка напрягается, и хочется вскочить на ноги, закричать, закрыв уши, а потом крушить все, что попадется под руку. Как мне здесь. Я на грани истерики, и, кажется, скоро так и сделаю – вскочу на ноги... Удержусь. Не посмею.

Шлеп, шлеп, шлеп...

Какое наглое, гнилое шлепанье. Вода. Опять вода. Почему я не сплю? Ведь – ночь. Ночью надо спать. Таковы правила Здания. Ночью надо спать и корчиться от реальности кошмарных снов. Днем надо действовать, извиваясь от неправильности дневного существования. Надо кричать и сходить с ума, верить в призраки, доверять безнадежности. Это тоже входит в правила. Здание – строгий мажордом. И я здесь – чужая.

Что Здание живое, я поняла давно. Хотя, определяющие время слова «давно»,

«недавно», «вчера» или «завтра» здесь неприменимы. В Здании есть только Сегодня. Утро, день, вечер, ночь – все это объединяется в одну большую каплю, подобную тем, что падают сейчас на ковер. Одно большое Всегда. Одно грандиозное Сегодня. Вчера было сегодня, и три дня назад было сегодня, и завтра тоже будет сегодня. И нет ни вчера, ни завтра, ни тех назойливых три дня назад, что так упорно бьются в висок.

Здание разговаривает со мной. Наверное, я уже давно сошла с ума, но оно разговаривает со мной, и я ничего не могу с этим поделать. Иногда это шепот ночного воздуха, иногда – клочки газет с обрывками фраз, а иногда – бормотание тумана. Каждый раз я силюсь понять и ответить, ведь если понять, значит, не надо бояться. Но я не понимаю. И, боги, боги, как же мне страшно здесь. Если бы знать, чего оно хочет от меня, зачем меня держат здесь и кто я такая, если бы слышать его слова на моем языке, если бы видеть эти знаки такими, какие они есть, и понять, что в них заложено, кто знает, может быть, тогда я смогла бы выйти отсюда.

Здание любит меня. Оно никогда не убивает меня полностью. Оно сгибает меня до критической точки, а потом отпускает, но я никогда не выпрямляюсь до конца. Не успеваю. Здание любит меня, поэтому я еще жива. Поэтому у меня есть своя комната, свой диван, свой старенький клетчатый плед. Иногда мне кажется, что если бы оно могло одевать и раздевать меня, как куклу, то у меня был бы и свой гардероб. И тогда я радуюсь, что оно этого не может, но довольно вяло. Потому что оно может много чего другого. Очень много чего.

Здание любит меня, а я его ненавижу. Я как домашнее животное у плохих хозяев. Если я не слушаюсь, меня бьют. И я давно и накрепко усвоила, что из своей конуры лучше лишний раз не выползть.

Шлеп, шлеп, шлеп... Каждая капля, как отдельная насмешка над моим израненным горлом. Оно болит слезами, тем самым комом, который сжимает дыхание в кулак и делает голос надтреснутым и ломким, как стекло. Иногда очень хочется его потерять навсегда – тогда исчезнет унижение слушать, как он дрожит и бьется в истерику, когда кричишь.

Каждый день я выплескиваю одиночество. Я пытаюсь избавиться от него, добраться до блаженной пустоты, но его становится все больше, и, кажется, скоро мне нечем будет дышать. Куда уж дальше. Есть только Здание и ничего кроме, есть я в окружении вещей, снов и событий, и все это – снова Здание. Я сопротивляюсь только одному правилу и только его не приемлю: я никогда – слышишь, ты, погань, – никогда не стану тобой. Да. А в остальном...

Здание знает, почему я не сплю, так что пока не трогает. Ведь это оно подослало ночной воздух, который шепнул мне на ухо: «Ты что, думаешь, что живая? Ах ты, дура... Да тебя уже давно похоронили, а ты и не заметила. Теперь такая традиция – хоронить живьем...» После этих слов воздух дохнул мне в лицо запахом прогорклого масла и хрипло захихикал, играя моими волосами. Я хотела крикнуть ему что-то, вскочить на ноги, но меня действительно похоронили. А что заживо – так это ничего, традиция теперь такая...

Я лежала в темноте, боясь двинуться. Ужас шевелил пряди на затылке. А вдруг правда? Как же я раньше не знала этого. Меня просто похоронили, только изнутри гроб по-другому выглядит. Столько времени я уже здесь (сколько?), и ничего не меняется, все те же кошмары, те же сны, то же размеренное существование изо дня в день и постепенное схождение с ума, тот же страх, то же отчаяние, та же безнадежность. Сколько раз я говорила себе, что живу, как в могиле? Вот он, ответ, так близко, оказывается, и так неожиданно. Просто Здание – большой саркофаг, склеп, вечное пристанище. Вечное! Нет, нет, пожалуйста, не надо.

Навязчивая мысль завладела мной полностью, и я всматривалась в темноту, пытаюсь различить правду, стискивала кулаки, царапая ладони обломанными ногтями. Здание удовлетворенно сгущало краски и помогало мне окончательно поверить в этот бред. Я лежала и думала, что надо пошевелиться, хотя бы сесть, тогда все станет ясно, будет легче, понятней, ведь это не может быть так, слишком уж просто и по-детски – ах, заживо погребенная. Но кто-то рядом шептал, что если я попытаюсь встать и не смогу, если надо мной и правда гнилая деревянная крышка да несколько метров земли... Лоб покрывался

холодным потом, и я жмурилась до головной боли, пытаюсь отогнать этот морок. Не может быть так. Не смей ему верить. У него много правил, но вспомни свое любимое: от Здания можно ожидать, чего угодно. Тебя же пугают, как непослушную девочку, которая поздно не спит.

Я досчитала до ста и резко села. Две секунды дикого ужаса, когда плед мешал двигаться, – и вот я дышу, как загнанная лошадь, безумно таращусь в темноту, а за окном влажно чавкает туман. До рассвета далеко.

* * *

То жарко, то холодно, серо и мутно. Утро приходит незаметно. Собственно, оно и не приходит, его просто нет. Только тьма вокруг меня пренебрежительно рассеивается, и не надо включать свет. А так – никакого утра не существует. И ночи тоже.

Я, кажется, много знаю о Здании. Откуда? И что я знаю? Однажды я просто проснулась условным утром и поняла, что мы – старые знакомцы. Но даже этого мне не дано. Иногда я думаю: до чего же, наверное, смешно – быть уверенной, что ты что-то знаешь, но даже понятия не иметь, что именно.

У меня нет памяти. Я не замечала этого раньше, когда только попала в Здание. Мне просто не приходило в голову, что есть такая штука – прошлое. Впрочем, тогда мне вообще ничего не приходило в голову. Я проснулась на кровати в своей комнате от собственного крика и долго бессмысленно смотрела в одну точку, пытаюсь понять, где я. Потом пришла какая-то спокойная и очень естественная мысль, словно так и должно быть: я в Здании. Тупо и безнадежно, вот так. А почему, как, когда – не все ли равно? Ведь я – в Здании. И я была здесь всегда. Потом я заплакала, сама не зная, почему, а потом мне стало страшно. Это теперь три главные составляющие меня: страх, горечь и тупость. Не могу сказать, чтобы я направила сама себе.

Последнее время все чаще приходит еще одно чувство, и тогда я начинаю сходить с ума: Ненависть. А где-то в глубине ворочается мысль, что ненавидеть мне не хочется, что это не только хлопотно, но и опасно. Ну, зачем мне это нужно? Ведь куда проще, когда тупо и горько. А что страшно – так это пустяки. Так надо. Я стараюсь не думать эту мысль, потому что она не моя, чужая. И когда я выкидываю ее из головы, Здание мстит. Здание требует взаимности. Тогда я вздрагиваю и думаю, что вот, у меня нет памяти, зачем я об этом знаю, ведь не знать было бы спокойнее. Но Здание не делает поблажек даже в мелочах. Оно создает для меня искусственное прошлое, которым управляет, как хочет.

Я не знаю, сколько времени нахожусь здесь. Может быть, годы, а может, считанные дни. Но все-таки склонна думать, что уже очень долго. Не могла я за несколько дней заболеть такой закоренелой душевной сутулостью.

И всплески. Наверное, я все-таки очень больна, потому что нервы скачут безумными синусоидами, от прострации к буйству. Я хотела бы верить, что я в сумасшедшем доме и что меня лечат, – все лучше, чем здесь. Но я знаю, как глупо на это надеяться. Толку.

Скулы сводит от желания выкрикнуть в потолок ненависть, потому что ветер шепчет: «Привыкнешь. К боли привыкла, к страху привыкла, к одиночеству, и к покорности тоже – привыкнешь...» Я боюсь кричать и шепчу ему, тихо-тихо, еле шевелю губами: гадина. Гадина, гадина... Здание не обижается. Оно не умеет.

Я знаю, что сделаю. Когда посветлеет, и я смогу сказать, что наступило утро, я найду разбитое окно. Их тут полно – больших, маленьких, всяких. Да, я найду разбитое окно и высунусь из него как можно дальше. Я не буду смотреть вниз, во двор, нет, зачем, я посмотрю вверх. Если будет ветер, туман влипнет в небо, и оно станет грязно-молочного цвета, как вчерашний кисель. Но это не имеет значения, главное, я пойму, что все-таки оно есть. Ведь меня не так-то просто обмануть. Да, я буду смотреть в залепленную туманом высь, и ветер станет плести кружево из моих волос, они у меня длинные, совсем ниже

пояса...

Я очень давно не видела солнца. Кажется, я начинаю забывать, как оно выглядит. Единственное, что позволяет увидеть мне Здание – грязное желтоватое пятно в молочном мареве, как масляный развод на скатерти. Я ненавижу Здание еще и потому, что не могу без солнца. Я начинаю внутренне умирать, впадать в анабиоз и становлюсь совсем беззащитной. А оно прячет от меня солнце и перемешивает времена года, и я даже не знаю, что происходит за моим окном. Там какой-то вечный промежуточный период, безвременье.

В Здании холодно. А я не терплю холод. Когда сырость и ветер добираются до меня, я начинаю ясно понимать, насколько я живая, насколько мне плохо и страшно. Я пыталась подружиться со Зданием. Я пыталась – смешно, правда?- играть с ним. Это было не так давно, я пережила очередной кошмар, и меня колотил озноб, но я все равно пошла бродить по коридорам, потому что хотела есть. А потом нашла кусок мела.

Помню, невыносимо тряслись руки, когда я рисовала на полу классики – цифры выходили какие-то кривые, перевернутые. Я подумала, что так жестоки могут быть только дети, может, Здание – огромный безумный ребенок, которому не с кем играть? И если это так, то я могу научить его другим играм, и, может, его неизбывное одиночество убудет, и оно перестанет измываться надо мной. Я водила мелом по желтому линолеуму, с кончика носа капали слезы, голос ломался и пропадал, я жалко и отчаянно бормотала себе под нос какие-то глупости, пытаюсь пожалеть его, его, Здание, – вот дура, слов нет.

Послушай, я нарисую тебе солнце, ты ведь его тоже не видишь, смотри, это такая игра, где никто никого не ест, и все счастливы, ну пожалуйста, посмотри, это солнце, оно горячее, красивое, я не уверена, я его давно не видела, но мне кажется, что так оно и есть. Тебе ведь плохо одному, правда, милое, хорошее, ты ведь совсем не такое злое, как кажется, тебе просто страшно, тебе просто мутно и холодно, господи, если бы здесь был еще кто-нибудь, мама, мамочка, как же мне холодно, ну посмотри, ты видишь, это солнце, оно есть, до него можно допрыгнуть, и тогда ты выиграло. Просто допрыгнуть до солнца, и тогда все будет хорошо, слышишь, ты ведь всегда все слышишь, ну, давай играть, давай...

Как хорошо, что в Здании, кроме меня, никого нет. Потому что мне сложно представить, как воспринял бы этот предполагаемый кто-то мои детские игры. Хороша я была, наверное: измазанное лицо в слезливых потеках, сопливый нос, спутанные волосы, мягкая одежда – и классики. И я прыгаю. Нет, не прыгаю, ковыляю, потому что стыдно и нет сил, потому что колотит изнутри, а ноги подкашиваются. Я не могла допрыгнуть до солнца. Помню, я задрала голову, уставилась в потолок, стиснула кулаки и стала тихонечко подвывать. Эта комната с кривыми детскими классиками стала моим молебельным домом, моим наркотиком, моей надеждой. Я приходила туда, как бы случайно, три дня подряд, а на четвертый, еще только спускаясь по лестнице, услышала дикий топот, как будто кто-то вколачивал сваи или давил насекомых. Сердце запуталось где-то в желудке, я села на ступеньку и ясно представила себе кошмарное искореженное существо с растерзанной куклой в лапах, которое прыгает и – вот что страшно – допрыгивает до солнца. А в мозгу колотилась мысль: «Оно играет. Оно играет. Оно играет!» Потом было тихо.

Оно растоптало мое солнце. От рисунка на полу осталось белесое пятно, Оно здорово потрудились, прежде чем мой молебельный дом превратился в грязную меловую пыль на грязном полу в грязном, отвратительном Здании. Ненавижу. Господи, как же я тебя ненавижу!

Помню, я вернулась в свою комнату и там долго сидела, складывая из газетных листов самолетики, которые запускала в коридор. Ветер уносил их куда-то прочь. Потом мне снились птицы и чей-то ужас. Ветер, пепел, кровь, желтые клювы... Не помню.

Надо пережить эту темноту. Ночью Здание непредсказуемо и зло. Кто знает, какие еще каверзы оно мне устроит. И хотя это моя комната, и в ней никогда ничего не должно происходить, ночью Здание умудряется пробраться даже сюда.

Нельзя думать о Здании. Если я хочу дожить до утра и не спать, нельзя вообще думать. Вот капли каплют. Капли. Вода. Откуда-то капает вода. На этом круг замкнется, и

начнутся сны. Кошмары. Другие мне не снятся. Они очень четкие и великолепно запоминаются. Ими хорошо пугать детей. Иногда я сама чувствую себя ребенком, и от этого еще страшней, потому что беспомощней. Ощущение детскости своих рук, ног, туловища, чувство слабости и зависимости – как будто давно, в детстве... И снова приходит настырное: я очень много знаю о Здании. Знаю или помню? Оно не позволяет понять. Бойтся?

Но я не маленькая. И хоть я не помню, сколько мне лет, зато уверенно могу сказать, что уже не семнадцать, но еще и не тридцать. Просто я видела себя в зеркале. В семнадцать так не боятся. Да и в тридцать уже тоже.

О, я отлично помню, как нашла это зеркало. Это случилось, когда я поняла, что разучилась разговаривать. Километры без выхода по одним и тем же коридорам и лестницам сделали свое дело. Мне некому было сказать, что ночью газеты в коридорах шуршат особенно громко, что под утро кто-то скребся в стекло, а может, мне показалось, хорошо, если показалось, я все смотрела в темноту и боялась разглядеть ороговевшую когтистую лапу в окне. Некому было пожаловаться на головные боли и бессонницу, когда не знаешь уже, что лучше, спать и видеть кошмарные сны или сесть прядь за прядью от кошмаров реальности. Не с кем было поделиться своим страхом.

Я очень долго панически боялась кого-то, кто должен жить здесь и творить все эти каверзы в виде поджогов, запираний дверей, наводнений и прочих прелестей. Я его боялась и искала, потому что не хотела бояться. А еще я думала: раз он здесь живет, значит, он – хозяин и может меня вывести. Поэтому я вздрагивала от каждого шороха, охотилась за каждым звуком, подстерегала каждый, пусть самый маленький и незначительный, шумок. Я даже, помню, придумала себе его образ – этакий пронырливый худощавый мужчина лет пятидесяти в потрепанном фраке. Почему потрепанном? Здесь все потрепанное. Я так ясно его себе представляла, что иногда мне даже казалось, что я вижу мелькнувшую за поворотом коридора тень или чувствую спиной его взгляд.

Здесь все время кто-то смотрит в спину, постоянно, пристально. От этого бывает зябко и просторно, мурашки бегают вдоль позвоночника, и хочется найти темный угол, чтобы спрятаться. А может, у меня паранойя? Какие только умные слова не приходили в голову, когда чье-то движение удавалось увидеть только самым краешком глаза, кусочком сознания, просто нутром почувствовать, что там что-то было. А может, не было? Славные игры. Становилось так страшно, что хотелось кричать. И об этом рассказать тоже было некому.

Как-то вечером я шла по коридору, искала свою комнату. Я еще плохо знала Здание, все время терялась, путалась. Это потом уже я поняла, что Здание постичь и изучить невозможно, и что именно в этом состоит искусство знать его. Что коридоры в Здании сплетаются и расплетаются, как ему угодно, и я до сих пор понятия не имею, на каком этаже находится моя комната, та, которую отвело мне Здание, и почему именно эта, как две капли воды похожая на все остальные, комната должна быть моей, я просто приняла это в обмен на хлипкую надежду, что моя комната – моя конура, в которой ничего не случается. Считается, что она находится на шестнадцатом этаже, я привыкла так думать. Но совершенно в этом не уверена. Не в том дело. Часто бывало так, что я добиралась до комнаты уже в темноте.

В тот вечер темнело стремительно быстро (темнеет в Здании – когда как, как ему больше нравится), а я все еще не знала, куда идти. Завернула за угол и тут почувствовала что-то холодное и скользкое у себя на шее. Мне почему-то показалось, что это чьи-то пальцы. Может, даже его, хозяина. От ужаса ноги стали ватными, и заболел живот. Я закричала и испугалась еще больше. Это холодное оказалось комком мха, упавшим с протекающего потолка, но дело было не в нем. Мой голос. Вернее, остатки моего голоса. Они принадлежали не мне. И, оказывается, давно. Здание отнимало меня у меня по кусочкам, маленькими порциями, и вот отняло голос.

Помню, как стояла посреди коридора, бессмысленно уставившись в стену с мокнувшей штукатуркой, и пыталась произнести слова. Ничего не получалось. Господи, у меня ничего не получалось. Губы шевелились, воздух плясал вокруг, внутри, сминаемый ими, а звуки вязли в чем-то чужом, спокойном, безумном. Кажется, тогда у меня даже кожа на голове

покрылась мурашками. Я металась по коридору, натыкаясь на стены, растерянно и нервно оглядывалась по сторонам, как будто мой голос был клочком газеты или пустой бутылкой, которую я забыла где-то в углу. Мне все время казалось, что я падаю, падаю на глазах у восхищенной публики, неотвратимо, в болото, сейчас вонючая зеленая жижа начнет заливать рот, и меня не будет. Будет только тошнота и стыд. Я выблюю в никуда последние остатки себя и превращусь в сухую камышинку, змеиную кожу, жесткую и противную, злую на саму себя за то, что ее нет. Потому что только пустопорожняя змеиная кожа может потерять голос и даже не заметить этого, а потом стоять и потерянно разевать рот, как отупевший карась, надеясь, что добренькое Здание подкинет туда какую-нибудь дрянь, милостивый суррогат, от которого за километр несет враньем и гнилью.

Неужели так оно и будет, Господи, ведь этого нельзя допустить, я не смогу жить с этим, если у меня будет другой голос, похожий на голос ночного воздуха, или на хихиканье тумана, или на шепот коридоров, я убью себя. Я не смогу так. Послушай, послушай, голос, ведь это не так важно для Тебя, зачем Тебе я – безголосая? Ведь тогда я не смогу кричать, когда страшно, не смогу плакать навзрыд, ведь Тебе же нравится, когда я кричу и плачу, ведь это Твоя любимая игра

Я сжимала горло руками, пытаюсь выдавить слова, но там был тот самый ком, который всегда бывает в преддверии. Я только поранила горло изнутри, оно так и не зажило до сих пор.

К утру у меня получилось только два слова. Первое – Здание. Я произнесла его как-то на удивление легко, словно играючи, словно и не я. Оно было липкое и пахло гнилью, это слово. После него остались стыд и гадливость. Нужно было сделать, сказать что-то, что стерло бы, вытравило это отвратительное чувство. Помню, как зажмурила глаза, крепко-крепко, и вдруг увидела нужное слово. Нужное мне.

Выход.

Буквы горели оранжевым и белым: выход.

Не открывая глаз, чтобы не терять его из виду, я набрала воздуха в легкие, так много, что они чуть не лопнули, и, превратив воздух в слово, вытолкнула его наружу. Мне казалось, что от моего усилия рухнут стены, но нет, Здание нерушимо, оно только чуть задрожало стеклами, кажется, мое слово ему не понравилось. Выход получился – слабым, хриплым, болезненным, как стон, – но получился. Меня прорвало. Я выкрикивала его изо всех сил, как будто меня били, как будто звала на помощь, доходила до истерического визга, исходила криком, пока кровь не пошла горлом, пока я не захлебнулась своим выходом и не замолчала.

Как тихо было вокруг. Как безумно тихо. С подбородка капала красная юшка. Я закашлялась, пару раз харкнула кровью. Хрипло засмеялась. Нет, ты меня не заставишь, не заткнешь мне глотку. Кровь? Пустяки. Все равно меня никто не видит. Нет, гадина, этого я тебе не отдам. Ты меня не заставишь молчать, слышишь? Захотело мой голос? Обойдешься. У тебя есть свои голоса, неужели мало? Ведь целый хор, целая толпа бестелесных холуев, которые напичканы подвальной мерзостью и вонью, которые не знают ничего, кроме ужасов и извращений, которые готовы насиловать, измываться, запугивать, дразнить, травить, ранить. Подавись ими, а мой ты не получишь. Пусть он охрип, пусть он сломан, пусть он в истерике и на грани визга, но он мой. Слышишь, ты, развалина старая, только посмей, только тронь, я взорву тебя изнутри, слышишь?

Мне казалось, я сильно его напугала. Здание слышало и молчало. Ему было все равно.

Я стала разговаривать сама с собой. Просыпаясь, я говорила себе: «Доброе утро», укладываясь спать – «Спокойной ночи». По утрам я рассказывала себе свои сны, удивлялась и сочувствовала, восклицала: «Кто бы мог подумать?!» и отвечала: «Да-да, именно так оно и было, можешь мне поверить». Я обсуждала с собой планы на день и интересовалась собственным здоровьем. Пыталась даже рассказывать себе сказки, но так и не вспомнила ни одной. Я не замолкала ни на минуту, делая перерыв только на сон и еду, я заполняла свои голосом коридоры, и вереницы моих слов бродили неприкаянными караванами, заглядывая в комнаты и сталкиваясь друг с другом. Их становилось слишком много.

Пожалуй, я была ничем не хуже испорченной радиоточки. Зданию бы стоило тогда поучиться у меня, потому что его радиоточки молчат. Их много, они везде, в каждой комнате, в каждом коридоре, но они молчат – и слава богу. Я бы умерла, наверное, от страха, если бы они вдруг заговорили. Впрочем, Зданию не нужны никакие радиопередачи. У него и так много голосов. А тут еще я так глупо и отчаянно отдавала ему свой. Это было похоже на бесконечную игру в дочки-матери. Я так увлеклась своим голосом, что забыла искать выход, я думала, что начинаю побеждать. А потом нашла зеркало.

Коридор был из тех, которые появляются неведь откуда в самый неожиданный момент. Он был не очень длинный, метров десять, со светло-голубыми стенами, с облупившейся краской и сырой штукатуркой. Такой же, как все остальные. А на стене висело зеркало. Оно было овальное, размером с большой поднос, в иссохшей деревянной раме. Я так давно не видела подобных вещей, что даже не сразу сообразила, что это такое.

Я спросила себя: ты знаешь эту штуку? Похоже на окно, но здесь не бывает круглых окон, и почему окно в этом коридоре? Странная стекляшка, не находишь?

Да, странная. Что-то очень знакомое, но я не советовала бы тебе вот так сразу подходить и трогать эту штуковину руками.

Почему?

Почему-почему. Тоже мне. Ты ведь ученая уже, знаешь, чем это может закончиться.

Да, но эта штука такая безобидная на вид.

Газеты и туман на вид тоже безобидные, не будь дурой. Что ты, как маленькая, ей-богу.

Тебе лишь бы спорить и запугивать, смотри, ну что тут может случиться. Висит себе на стене кусок стекла, непонятно, правда, зачем он там висит, но это же просто кусок стекла, не топор и не веревка, и не огонь. Чего бояться?

Я бы на твоём месте к нему не подходила. Ну что тебе за радость все время лезть куда-то, в самые неприятности. Не просто так его здесь повесили. Это очередная милая шуточка нашего дорогого хозяина, а ты идешь на провокацию, как последняя идиотка.

Ну да, я идиотка, но я не хочу бояться, мне надоело, поэтому я сейчас подойду к этой штуке и рассмотрю ее.

Ну, как хочешь, я предупреждала.

Да, я так хочу, и не спорь, мне надоело шарахаться от каждой тени, мне...

Я отразилась в нем, как-то вдруг, и – замолчала. Я смотрела на себя и думала, что я сошла с ума, что никого, кроме меня, в Здании нет, никакого хозяина, и что Здание живое.

Примерно двадцать лет страха и подозрительности смотрели мне в глаза, и как-то не верилось, что та, безумная, со восторженными волосами, та, в зеркале – это я. Было, кажется, еще хуже, чем с голосом. Я смотрела на себя и чувствовала, что в горле набухает забытый уже ком, что сейчас глаза станут мокрые, ресницы слипнутся, а по щекам потечет горькая жалость к себе, и так стыдно, стыдно...

Вон, вон отсюда, куда-нибудь, потому что у нее уже кривятся губы и покраснел нос. Потому что она худая, издерганная, с дрожащими руками, с черными кругами вокруг воспаленных, испуганных глаз. Потому что она не может быть мной, она скорее призрак, тень, забитая сумасшедшая, она вызывает только жалость, жалость и недоумение. И все-таки это не картинка, не обман, это действительно я, такая, какая есть, ведь здесь по-другому нельзя жить. Это подарок мне – чтобы не забывала. Смотри, девочка, смотри – ты, помнится, хотела выйти отсюда? Куда ты пойдешь, где ты сможешь быть – такая? Смотри, девочка, смотри внимательно, запоминай каждую черточку, эти горькие складки у губ, – такие бывают в сорок – эту затравленность и робость в движениях – такие бывают у побитых собак. Нравится?

Смотреть было невыносимо. Я закрыла лицо руками и зажмурилась. Только бы не видеть, Господи, только бы не видеть, только бы...

Отражение тянуло, ждало. Требовало. А у меня уже не было сил ни на что. Я перестала жмуриться и посмотрела в зеркало сквозь пальцы. Отражение поправило жеманным жестом волосы и улыбнулось. По подбородку стекали красные капли. Оно вытерло их тыльной

стороной руки, размазав по лицу. Я почувствовала холодную липкую пятерню на своих щеках, попятилась и закричала. По спине галопом мчался озноб, а в голове мелькало: «Я тебе этого плевка не прощу. И того, что крик такой слабый, – тоже. Гадина. Гадина, гадина...» Под рукой не было ничего тяжелого, но ведь это пустяки, правда. Еще не понимая, что делаю, я кинулась к зеркалу, сорвала его со стены и с такой силой грянула об пол, что чуть не потеряла равновесие. Миллионы, миллиарды блестящих мелких осколков брызнули в разные стороны. Я до сих пор, не понимаю, почему ни один из них не попал в меня. А впрочем... Зачем Зданию мелкая месть?

Я постояла над разбитым зеркалом минуты две и побрела к себе в комнату. Разом куда-то исчезли все мои хваленые достижения. Я шла по коридору, еле переставляя ноги, опустошенная, усталая, безумно усталая, шла, молчала и думала, что никто в этом Здании жить не может – ведь даже я в нем только нахожусь. В тот вечер я больше не разговаривала. Да и не только в тот вечер. У меня вообще пропала охота болтать без толку, думаю, уже навсегда.

А еще меня съедало изнутри предчувствие беды. Тогда я уже знала, что все в Здании происходит неспроста. Так или иначе, оно дает знать о своих намерениях, важно только заметить и понять этот знак. Хотя... Все равно ведь ничего нельзя сделать. И совсем не легче, когда заранее знаешь, что сегодня тебя будут жрать особенно активно.

По дороге в комнату я подобрала обрывок газеты, валявшийся посреди коридора. Газеты в Здании живут какой-то особенной жизнью. Я не знаю, откуда они появляются, куда исчезают. Однажды я собрала все газеты на трех этажах, ни одного клочка не оставила, свалила все огромной бумажной грудой и подожгла. Горело ярко, но без толку. На утро они появились снова, их было даже больше, чем обычно, ветер гонял их по коридорам и швырял в лицо, издеваясь и злорадствуя. А теперь только один несчастный обрывок посреди коридора, как бельмо на глазу. Зачем я его подняла? На пожелтевшей от сырости бумаге можно было прочесть всего две строчки, какой-то стих-уродец:

Дохлая кошка лапой елозит запретный клей -

Жди гостей.

Какая гадость. Меня передернуло. А в висках стучало: «Жди гостей. Жди гостей. Жди гостей...» И я приготовилась ждать. Не то, чтобы мне стало заранее страшно, просто я набралась пустоты и равнодушия. Иначе здесь нельзя. Нет уж, хватит меня пугать. Жди гостей. Надо же, запланированный визит. Жди гостей, хм. Погань ночная. Ничего у тебя не получится. Ни-че-го.

Ночь наступила совсем незаметно, просто все время было светло, и я только на минутку закрыла глаза, а когда открыла их, уже дышала ночной темнотой. Это было нечестно. Нельзя так. Неправильно. Я съезжилась на диване, укутавшись в плед, и пыталась смотреть в окно. Как-то необычайно холодно было в комнате, ни одежда, ни плед не спасали. Через щели между стеной и дверью ловко просачивались ледяные сквозняки, пальцы на руках совсем заоченели, по телу гулял озноб.

Я еще подумала, что, наверное, снаружи опять зима, и если во дворе есть лужи, то они замерзли. Сразу как-то в голову полезли мысли о камине, или грелке, или костре, да-да, лучше всего костер, он живой, рыжий, к нему можно протянуть руки, он потрескивает и плюется искрами. В самой середине угли светятся белым и подмигивают, как лукавые старички. Костер. Да. От него исходит мягкое шерстяное тепло, окутывает с ног до головы и баюкает. И оранжевый свет пляшет на лбу, на щеках, и спокойно, так спокойно внутри...

Откуда-то я знаю это, но не помню, откуда. Это было не здесь, точно, – в Здании не бывает настоящих костров. То пламя, которое плясало на обломках мебели или в кипе мятых газет, не дарило уюта, оно кусалось и чадило, травило горьким дымом, все норовило схватить, обжечь, уничтожить. Здание не любит, когда огонь зажигает кто-то, кроме него самого. Поэтому я не развожу костров, даже когда мне очень холодно. Теперь уже не развожу.

Я почувствовала чье-то присутствие, вздрогнула и открыла глаза. Я не заметила, как

она вошла. Дверь по-прежнему была закрыта на задвижку, и ничего в комнате не изменилось, только она стояла прямо напротив дивана и смотрела на меня. Странно, я совсем не испугалась. Я просто не могла ее бояться, настолько нездешней она казалась. Она была высокая, статная, в бесформенной полотняной хламиде цвета ночного воздуха, с худым скорбным лицом и апатичным взглядом. Она, кажется, ничего не хотела от меня – просто стояла и смотрела. А перед ней, на низеньком треножнике, пылала углями жаровня, плевалась искрами и расточала мягкое шерстяное тепло. Угли подмигивали, как лукавые старички.

– ...

До меня не сразу дошло, что она говорит. Я совсем не ожидала этого, она не должна была говорить, она была тенью, сном, и эта жаровня, и это тепло, и это спокойствие – здесь так не бывает. Просто не бывает. Я некоторое время пыталась понять ее слова.

– Подойди, – повторила она каким-то тусклым голосом. – Подойди. Согрейся, – и посмотрела на мои руки. Просто посмотрела.

Я медленно спустила ноги с дивана и глянула ей в лицо, пытаюсь понять, что будет дальше. Руки мерзли ужасно, очень хотелось устроиться возле жаровни и пропитаться ее теплом. Но что-то мешало. На что-то ее голос был похож.

– Зачем ты мне? – сразу стало ясно, что ответа не последует. Она не меняла скорбного выражения лица, и я не могла даже толком понять, шевелятся ли ее губы, когда она произносит слова.

– Согрейся, – повторила она. – Ты замерзла. Согрейся.

– Ты мне снишься, да? Или ты настоящая? Зачем ты пришла? Чего ты хочешь? – я чувствовала, как очень знакомый мне, мелкий, гаденький страх шевелится где-то внутри, шевелится и выпускает наружу озноб.

Меня трясло. Холодно. Она не живая. Очень холодно. Но кто сказал? Нельзя ждать только ужаса. Почему неживая? Почему сразу страх? Холодно. Очень холодно. Почему я так боюсь, ну же, она ничего мне не сделает. Она принесла тепло, свет, покой, посмотри на нее, с таким лицом нельзя сделать ничего плохого, она же, как статуя, совсем не шевелится, может, ее и не существует вовсе, может, это просто сон, так хоть во сне перестань бояться, согрейся, ты же так замерзла, девочка, подойди, согрейся, ты потерялась, дай руку, мы пойдем к маме, к маме, но сначала согрейся, здесь так холодно, холодно, холодно, протяни руки к огню, смотри, как побелели пальцы, совсем как ледышки, их надо согреть, иди, не бойся, не бойся, обогрей их, а потом дай мне руку, и мы пойдем к маме, пойдем к маме, пойдем к маме, к маме, к маме, к маме, к маме...

– Мы пойдем к маме, – повторила я, всхлипнула и очнулась. Я стояла около жаровни, вытянув руки с дрожащими пальцами прямо над огнем. Горячий воздух обволакивал их и улетал куда-то вверх. А она смотрела мне в глаза, спокойно, задумчиво. В голове гудел колокол, как будто по ней сильно ударили.

– Согрейся, – голос прошелестел сухими газетами в коридоре. Что-то оборвалось у меня внутри, и колокол замолк. Комариным невыносимым писком зазвенел страх. Ноги приросли к полу, а вместо сердца билась семипудовая камина.

Она смотрела мне в глаза и медленно поднимала руку, как будто в воде двигалась. Казалось, что между нашими естествами протянут морской канат, я не могла оторвать ее от себя, вот сейчас, именно сейчас, и надо успеть, пока она не коснулась меня, пока не произошло что-то, не важно, что именно, хотя в Здании ничего хорошего не случается, но дело не в этом, я должна вспомнить, я ведь знаю ее, я должна вспомнить, я могу, вот-вот, еще столетие, еще секунда, и я все пойму, я все верну, я верну себя... Не бояться, нет-нет, ведь это страх всему причина, он мешает, нет-нет, все будет хорошо, я вспомню, но тогда почему так хочется кричать и бежать без оглядки? Она зачем-то смотрит на мои руки. Нет, пожалуйста, не надо, дай мне вспомнить, дай...

Она взяла меня за запястье. И улыбнулась.

– Согрейся, – сказала она и захихикала. И потянула мою руку вниз, к огню. Медленно,

потянула, не спеша.

Я не могла вырваться. Ее рука была тверже железа, как вселенский наручник, я металась на этой живой привязи и чувствовала, что только обдираю кожу в тщетных попытках высвободиться. Кричать я тоже не могла, выходил сиплый шепот. Самое страшное – я знала, что сейчас будет. Не верила, но знала. Ее рука вытягивалась, как резиновая, я согнулась пополам, потом упала на колени, растопылив пальцы, всеми силами старалась вырваться, горячий воздух шевелил пряди, щеки покраснели от жара, а внизу плевались искрами угли. Они уже не были похожи на лукавых старичков. Тонкая кожа между пальцами просвечивала розовым, ладонь покалывало, глазам было сухо. Нет, не может быть так, я этого не выдержу. Господи, как, оказывается, я боюсь боли. Отпусти меня, слышишь? Отпусти меня, я потеряла голос, я потеряла лицо, я потеряла память, волю, веру, себя, неужели тебе мало, неужели ты хочешь превратить меня в жалкое, воющее от боли существо, не помнящее слов? Неужели тебе этого не хватало? Пожалуйста, ну, пожалуйста, ну, пожалуйста... Не надо... Нет-нет, не надо, ну...

НЕ НАДО!!!!!!!!!!

Она издала какой-то удовлетворенный свистящий звук и опустила мою ладонь на угли. Меня вывернуло наизнанку. Кожа шипела и лопалась, нестерпимо-сладко воняло паленым мясом, она прожигала меня насквозь, ладонь обугливалась, в этом смрадном ужасе виднелось что-то белое, может быть, кость, я не знаю, боги, боги, я не могла даже потерять сознание. Меня неудержимо рвало желчью, кажется, скоро и она тоже закончится, и тогда я выблюю свои внутренности, выплуну свое сердце, и она наступит на него, раздавит, чвак – и все.

Боль накатывает волнами, густая, яркая, острой иглой прошивает позвоночник, мозг, она уже не в ладони, я вся – боль, я вся – паленое мясо, я вся – лопнувшая кожа, тошнота и ужас, я не могу кричать. Сейчас взорвется нутро, и тогда – конец. Душа уже лопнула по швам, меня больше нет, я сделаю все, что ты хочешь, только прекрати это, мама, мама, мамочка... Какие яркие звезды, а ведь я почти вспомнила, так обидно умирать.

Утро – грязно-желтое. Приснилось. Бывали сны и похуже. Подошла к окну, оперлась о подоконник, вскрикнула. Больно. На ладони – полузаживший ожег. Запястье ободрано, словно всю ночь рвалась из тесных наручников. Спасибо, что жива.

* * *

Я умею петь. Это очень смешно – такое необходимое, важное знание. Легче от него не становится, нет, только тоскливей. Я пою-вою. Это когда мне тошно. Я пою-плачу. Это когда сил нет на то, чтобы выть. Так бывает чаще всего. Но иногда я просто пою. Не знаю, как это звучит со стороны, мне все равно. Знаю только, что Здание бесится и дрожит, а потом начинает убивать меня с особым удовольствием. Это называется – Черная Свадьба. Так было написано на моем окне, с наружной стороны, когда туман ушел, и стало мутно-белым небо.

Здание – мое запоздалое зеркальное отражение. Смешно, правда? Я делаю ему пакость – гоп! – включаю, например, краны в душевой, все до одного, сбегая на этаж ниже и там танцую под дождем и пою:

Ты мое зеркало...

Смешно, что я такая сумасшедшая, смешно, что Здание не может справиться с этим, смешно, что его потолок начинает протекать, как в банальном доме. Смешно и то, что после таких Черных Свадеб мне не хочется жить, а отказаться от них я не могу. В Здании все завязано на стекле...

**Ты мое зеркало.
Таяло, меркло,
Ныло уныло,**

**Взгляды коверкало,
Каждое слово,
Мнение каждое,
И даже однажды -
Жутко – движение
Отражение.**

Нельзя разбивать внешние окна, которые выходят не во двор, а чуть что, чуть я не так себя веду, чуть я залезу в запретную кладовку или загляну в запретный коридор, как на меня напускают рой зазеркалий, толпу меня, и я бью, бью, бью зеркала, убиваю себя раз за разом, а потом снова танцую голыми пятками по воде, лихо топчу серые лужи в коридоре и пою, пою свою Черную Свадьбу:

**Ты мое зеркало.
Редкими, редкими
Мигами двигало
Вижу – мое
Движимое
И недвижимое.**

Ты мое зеркало... Ну смешно же, смешно, черт возьми, у меня есть праздники, я пою песни, прекрасно понимая, что каждый раз может быть последним. Хорошо? Но не это вырывает у меня хриплый крик, а то, что все закономерно, предсказуемо по сути своей, и не надо быть пророком, чтобы знать: так или иначе, девочка, а этой ночью тебе не захочется жить. Ты слишком громко пела.

**Ты мое зеркало.
Ты бы ослепло, -
Слепо-нелепо вылепить лето
Легче, чем так,
Когда не зрачок,
А зрак -
В мир,
Без границ,
Без ресниц,
Без оград,
Без бровных суровых гряд.**

Все правильно. Ты мне – я тебе. Зданию, например, не нравится, когда его заливают, и оно меня душит. Ему не нравится, когда в нем поют, и оно морит меня голодом, ему не нравится, когда в нем бродят без цели, и оно ломает мне ноги, жжет руки, раздрабливает пальцы, пугает. Иногда Здание играет со мной в прятки, это смешнее всего.

**Ты бы ослепло,
Зеркало.
Бельма прочнее,
Точнее, тучнее,
Белые пленки,
Хоть скучные,
Зато послушные.**

Если тебя найдут, ты съеден. Если не найдут – ну что ж, значит, ты умер.

**Мокнут пеленки
Глазных белых пленок -
Плачет ребенок.**

Одного только Здание пока не поняло. Я начинаю привыкать. Пройдет еще немного времени – и ожившее зеркало будет волновать меня не больше, чем пустые бутылки в углу или старые газеты в коридоре. Привычка – страшная вещь. Ах, как же я боялась раньше, как же я боялась. Мне казалось, нет ничего страшнее ожившего стекла, у которого твои глаза. И как нарочно, за каждый проступок, за каждую Черную Свадьбу Здание подсовывало мне все новые и новые зеркальные поверхности, проверяя, с какой максимальной силой я могу кричать. Миленькие эксперименты. Славные игры.

**Ты мое зеркало.
Разве не страшно?
Взглядами шашни,
Черные, белые,
Шахматы-шашки,
Белые, черные,
Злые, точеные...
Ты бы не спрашивало,
Ты бы закрашивало.**

Если бы я не знала, что Здание просто очень любит меня травить, я бы решила, что все это что-то значит, что в этом есть какой-то сокровенный смысл. В принципе, именно так я сначала и подумала, что все неспроста. Что такое зеркало? Почему с таким маниакальным упрямством я натываюсь на чуждые этому пространству предметы, и каждый раз на грани ужаса и темноты почти вспоминаю... что?

**Ты – мое зеркало...
Кто из нас старше?
Кто из нас краше?
Мы ли померкли
Или
Это от пыли?**

Иногда мне кажется, если бы я могла простить тебе свой страх... Но ведь я все помню. Я слишком хорошо все помню. И не могу. И то, что мои руки теперь дрожат, и я боюсь дверей, потому что однажды, во сне, когда я почти нашла выход, ты раздробило мне пальцы, и наутро они не шевелились, хотя внешне были в полном порядке, и то, что я не могу спать в темноте – все это тоже запоздалое зеркальное отражение, которое мне хочется разбить, уничтожить. Уничтожить вместе с тобой.

**Ты мое зеркало.
Кто из нас первый?
Я утверждаю -
Ты угождаешь?
Или, наверное,
Я угождаю -
Ты порождаешь...
Не побеждаешь?
Не обижаешь?
Ты, на проверку,
Вовсе нелепое,**

**Все несогретое
И невоспетое,
Вмасть никакое,
Слепое.**

Я слишком хорошо все помню. Может быть, это моя беда. Когда-то я исследовала твои коридоры, надеясь найти выход, я была уверена, что он есть. А теперь я знаю – нет его вовсе, нет, и не было никогда. Но ты ведь знало об этом все время, верно? Так за что нужно было мерить болью мое незнание, мои попытки выбраться отсюда, мои поиски того, чего нет на самом деле. Может быть, я уже почти – ты?

**Ты мое спитое,
Ты мое спетое...**

И теперь мне скучно. Я не устану, не бойся. Сил у меня хватит на столько же, на сколько у тебя хватит фантазии, чтобы выдумывать для меня новые пугала. Я буду бояться. Но ведь и страх когда-нибудь приестся. И что будет тогда? Как же ты будешь без меня? Я упряма, я упираюсь лбом в стены, но иду, я захлебываюсь словами, но говорю, я остаюсь без голоса, но пою. Ты заперло меня на чердаке своего одиночества, а я верю, знаю, что никогда не буду совсем тобой. Ты помнишь, как я бродила по этажам? Глупая, думала, что у меня есть хотя бы эта свобода. Откуда мне было знать, что нельзя ночевать нигде, кроме своей комнаты, откуда мне было знать, что двор – запретная зона, откуда мне было знать?...

**Внемля советам
Перековерканным,
втуне отекшее,
глупо ослепшее,
жалкое, мелкое,
слезно-мутневшее
перед упреками,
гордое стеклами,
мутное, блеклое,
сытое трещинами,
вящее, вешее,
смотришь калекой
внешности. Вовсе
запуганное
путами,
глупое ты,
зеркало.**

Глупое ты, зеркало. Глупое.

Я помню бесконечные походы по коридорам, я помню усталость и страх. Я помню, как отчаянно хотела найти комнату, в которой не будет слепой лампочки под потолком, пустых бутылок в углу и радиоточки. Комнату, которая хоть немного бы отличалась от остальных, в которой не будет так холодно и неудобно. Которую я выберу себе сама.

Тогда я еще боялась всего, даже ветра. И все-таки была смелее. Любопытней. Да, пожалуй, именно так. В тот вечер я долго ходила по Зданию и очень устала. Еды не нашла, а про выход было даже больно думать. Хотелось спать. Очень хотелось спать. Что-то внутри подсказывало, что лучше закрыть глаза, и тогда ноги автоматически приведут в мою комнату, а там старенький клетчатый плед, сквозняки и тишина. Может, мне повезет, может, этой ночью даже газеты не будут шуршать в коридоре. И к чему это дурацкое упрямство, кому от него будет лучше? Пока просят по-хорошему, надо идти, – уговаривал внутренний

голос.

Я не пошла. Я брела по коридору и искала место для ночлега. Не знаю, какой это был этаж. Скорее всего, восьмой. А может, и нет. Я шла и просто открывала двери, заглядывая в комнаты, без цели, без смысла, упрямо. И вдруг одна из них оказалась другой. Я остолбенело застыла на пороге и не могла поверить своим глазам. Комната не отсюда. Разве такую я хотела? Не важно. Я искала – я нашла. Давайте раздуемся от гордости. Комната-издевка, комната-насмешка. Настолько другая, настолько вычурно-пышная, что становится стыдно. Тяжелые бархатные портьеры на окне, зеркало в мой рост на стене, огромное плюшевое кресло напротив. Пушистый ковер на полу, тумбочка на резных ножках. И все королевски-красное, торжественное, парадное... почти. Ах, так? Ну, хорошо. Я искала – я нашла? Пожалуйста! Значит, я буду ночевать здесь. Я не против. Где угодно, только не у себя на черт знает, каком этаже, в грязи и пустоте.

Поразительное свойство имеет мое обиталище: я могу вынести из него все обрывки газет, повикидывать в коридор все пустые бутылки до одной, выйти, постоять минуту в коридоре, зайти обратно, а там все по-старому. Пыльные бутылки в углу, мятые обрывки под столом, пыль. Не хочу. Не хочу и не буду.

Я переступила порог и закрыла за собой дверь. Подошла к окну, потрогала портьеры. Мягкие. Хочется потереться об них щекой. Смешно. Ну вот, снова кто-то смотрит в спину. Обернулась – ага, да здесь просто хоромы, еще одно зеркало, просто на двери. Отлично. Простор для наведения красоты. Стало страшно и как-то мутно. Что-то я забыла. Постояла с минуту, задумчиво потирая лоб. Нет, не помню. Что-то насчет зеркал. Со встроенным ответчиком. Бред. Ну конечно, бред. Не имеет значения. Здесь нет кровати, но это не страшно, кресло вон какое просторное. В нем можно будет очень уютно свернуться калачиком. Конечно, стоило бы сходить к себе и принести плед, но ведь даже маленькому ребенку понятно, что второй раз я эту комнату не найду. Обойдусь. Сегодня не так уж холодно, сквозняков здесь нет. В сущности, о чем я только думаю? Как бы не замерзнуть, как бы не испугаться, как бы не... К черту!

Безумно хотелось спать. Интересно все-таки, до чего безалаберно Здание творит пространство. Красный бархат, резное дерево, зеркала, и тут же – пожалуйста, даже здесь не обошлось без всякого хлама. Открыв тумбочку, я обнаружила там стоптанный тапок, две пустые бутылки и странного вида железяку. Я покачала ее в руке. Тяжелая. Удобно ложится в ладонь. Начало покалывать затылок. Кто-то. Кто-то смотрит. Обернулась. Черт, ну сколько можно попадаться на одну и ту же удочку. Конечно, там никого не было. Я вздохнула, закрыла тумбочку, но железяку внутрь не убрала, положила сверху – так спокойнее. А то мало ли что? В Здании всякое бывает.

А теперь спать. Спать, спать... Я устроилась в кресле, свернувшись калачиком, закрыла глаза и вдруг заплакала. Тихо и горько. Мама, мамочка, как же мне плохо здесь. Почему меня здесь держат, если бы только знать, и кто это делает? Сколько раз было, когда я останавливалась посреди коридора и начинала кричать: кто-нибудь, кто-нибудь, пожалуйста, кто-нибудь услышит меня? А Здание смеялось. Мне кажется, если бы здесь был еще кто-то, мы бы справились. Мы бы обязательно помогли друг другу. Может, мы даже нашли бы выход. По крайней мере, рядом был бы кто-то, кому можно рассказать свои сны. Мы будили бы друг друга среди ночи, не давая тонуть в кошмарах. Мы бы обязательно справились. Ведь одиночество – главная слабость, которая порождает все остальные. А так – сразу мы, не по отдельности, а одним целым – мы. Душно становится. И опять меня кто-то душит во сне. Не хватает воздуха. Как я устала. Прекрати, ну пожалуйста, я ведь знаю, что это сон, знаю, что мне нужно проснуться. Я вскочу, запутаюсь в пледе, буду долго восстанавливать дыхание. Забери мои сны, хотя бы сегодня, слышишь? Душат, душат, душат...

Я застонала и открыла глаза. Сначала не поняла, где нахожусь, потом вспомнила: я же сегодня ночую не у себя. Было беспокойно как-то, тревожно. Приучили тебя, милая. Приучили тебя к месту. Терпи.

Мне бы очень хотелось услышать за окном дождь.

Я беспокойно заворочалась в кресле, почему-то переставшем быть уютным, завздыхала, пытаюсь устроиться поудобней. А потом вдруг до меня дошло. Как будто ушат холодной воды на голову вылили. Холодные струйки потекли по спине. Так вот оно. Я медленно, очень медленно, подобрала под себя босые ноги и вжалась в спинку, расширенными глазами глядя на себя в зеркало. Мое отражение неподвижно сидело, подперев щеку кулаком, и наблюдало за мной даже с некоторым интересом. У меня задрожали руки. Ведь я-то – двигалась! Я спустила ноги на пол и вцепилась в подлокотники, костяшки пальцев побелели. Оно не двигалось, хотя, нет, кажется, вздохнуло. Потом выражение его лица стало меняться. В глазах появилось беспокойство, переходящее в панику, оно подняло голову, выпрямилось, оглянулось назад. Я рефлекторно тоже оглянулась, повторив его движение – и никого не увидела. Я чувствовала, что схожу с ума. Оно не было злым, по крайней мере, не хотело зла мне, но я не могла уйти оттуда, даже встать, меня приковало к этому проклятому креслу намертво. Отражение заерзало и вжалось в спинку кресла. А потом... Нет, это слишком.

Это слишком.

Из-за высокой спинки кресла в зеркале появилась еще одна я – во только глаза у нее были такие чужие, такие сытые, сытые, сытые... Копия смотрела на меня в упор и, похоже, все это ее сильно забавляло. Не отводя глаз, она наклонилась и погладила мое отражение по щеке, улыбнулась. Я кожей почувствовала прикосновение. Холодно. Страшно, беспомощно. Она провела пальцами по лицу отражения, закрыла ему глаза, а потом схватила за горло. Меня кто-то душил. Кто-то, кого не было в этой комнате. Я царапала себе кожу, пытаюсь оторвать от шеи невидимые пальцы, а мое отражение корчилось и выгибалось в красном плюшевом кресле, выкатив глаза из орбит и беззвучно раскрывая рот.

Она убивала меня, и она меня убила. Я осталась лежать там, с бессмысленными остекленевшими глазами и посиневшим лицом, я осталась сидеть здесь, забыв дышать, с ужасом вытаращившись на свой собственный труп в зеркале, а она тряхнула головой, вытянула вперед руку и пошла на меня, словно хотела выйти из рамы. Ей было мало. Еще не наелась. Вот шаг, еще шаг, пальцы коснулись стекла, и оно дрогнуло, зарябило, а копия продолжала наступать, выходя из зеркала медленно, но неумолимо.

Вот тут меня проняло по-настоящему. Я истерически закричала, вскочила с кресла, бросилась к двери, но оттуда тоже выходила копия, такая же сильная и наглая, она была в комнате уже по локоть, тянула ко мне свои пальцы, и уже обе они улыбались насмешливо и многообещающе. Я кричала и металась по комнате, а они выходили из зеркал, не спеша, неотвратно, сантиметр за сантиметром, и не было выхода, и некуда было деваться.

Я наткнулась на тумбочку, больно ушиблась, опрокинула ее, зазвенели бутылки, с грохотом свалилась на пол железяка. Я не дамся вот так, чтобы меня удавили в красной комнате с пошлым плюшевым креслом. Схватила железяку и швырнула в зеркало на двери. Перед тем, как оно разбилось, я увидела гримасу ненависти на лице копии. Бежать, бежать отсюда, пока та, первая, не вышла окончательно, нет, она найдет меня в этой мышеловке, ее невозможно запереть здесь, ее можно только убить. Я обернулась. Она уже не выходила из стекла, она отступила вглубь, к креслу, и беззвучно хохотала, ухватившись за подлокотник. Я разбила ее смех вместе с тающим телом моего отражения.

Потом я бежала по коридору, кричала и разбивала зеркала, которых там раньше не было. Разбивала, потому что из каждого ко мне тянулся тяжелый насмешливый взгляд, и все они – мои копии – сидели, стояли, протягивали руки, улыбались, беззвучно смеялись и кричали что-то, а потом сыпались, сыпались, сыпались к моим ногам сотнями блестящих осколков. Коридор тянулся целую вечность, я охрипла, выбилась из сил, меня шатало из стороны в сторону, поднимать железяку, чтобы разбить очередное зеркало, становилось все тяжелее, руки дрожали, ноги подкашивались, а коридор все не кончался. Потом случайное оружие вывалилось у меня из рук, и следующее зеркало я разбила уже локтем, сильно поранившись. Я только успела заметить, что отражение в нем в страхе отшатнулось от моего перекошенного лица. Не помню, как, я оказалась в своей комнате, на своем старом

диванчике, и проплакала всю долгую ночь до рассвета, комкая рукой плед и закусывая в нестерпимой муке кулак.

Да, я знаю, ты просто поставило меня на место. Прошло еще очень много дней, пока я снова начала исследовать коридоры. Та комната с зеркалами выжгла во мне мое любимое правило: от Здания можно ожидать, чего угодно. Конечно, я не нашла ни битого стекла, ни плюшевого кресла, ни оброненной железяки. Я даже сомневаюсь иногда, было ли это на самом деле, и только несколько шрамов на локте кривятся в ухмылке: да, было, и ты ему этого не простишь. Помнишь? Ну конечно, помню.

* * *

Вокруг Здания почти всегда – туман. И почти всегда – ненастоящий. Он ворочается за тонкой перегородкой оконного стекла, ворочается, как сытый зверь. Иногда – как голодный, тогда страшнее всего. И хлюпает. По ночам, особенно после дождя, мне кажется, что грязно-белые чьи-то руки шарят по стеклу, выискивая щель, чтобы пробраться внутрь и погладить меня по щеке. Они холодные, как лед, эти руки, я знаю. Откуда? Если бы я могла найти ответ, я бы многое поняла о себе. И о нем.

За окнами Здания туман наигранный, пафосный и, похоже, тоже живой. Иначе – зачем бы ему шевелиться? Иногда я прижимаюсь к стеклу лицом и ладонями, и мне все кажется, что сейчас из тумана слепится лохматая голова, тоже прижмется к стеклу и посмотрит в мое сплющенное лицо желтыми бессмысленными глазами. Поэтому я смотрю в окно редко. Хотя, наверное, все это тоже неправда – просто Здание подкинуло мне очередной повод бояться. Очень удобно, даже не надо ничего делать – я пугаю сама себя. И я боюсь. Я послушная.

Ведь он действительно живой, я знаю, я чувствую, от меня его отделяет только Здание, и только благодаря ему я еще не захлебнулась в белой холодной мути. Здание бережно относится к своей единственной игрушке. Если отдать меня туману, то кто будет развлекать публику? Иногда – ночью – я молюсь о том, чтобы не надоест Зданию. Уж лучше здесь, чем туман. Нет, нет, не надо, нет. Лучше здесь. Я жмурюсь и мотаю головой. Я откуда-то помню этот животный нутряной ужас, как будто это уже было со мной. Вспомнить – сойти с ума.

Нет, это даже не страшно. Это отвратительно. Это как черви во рту. Помню, приснилось мне однажды, что у меня полный рот червей, скользких, холодных, извивающихся. Я тогда заблевала всю постель, проснувшись, и все не могла успокоиться, еле доползла до душевой, долго пила вонючую воду из-под крана, и меня снова выворачивало, и так раз за разом. Мне все казалось, что это был не сон, что один из них остался еще где-то во мне и шевелится, что все они еще живы и копошатся в моей комнате на постели в луже блевотины... Брррр! Такое же чувство вызывает у меня туман. Омерзение, от которого можно умереть. Почему? Правда ли это? Мне не хочется проверять.

Туман бывает разный. Иногда он похож на грязную вату, и становится душно, душно, как будто снаружи нет воздуха, нет ничего, и туман высасывает кислород из комнат, из коридоров, из моих легких – несчастные остатки, клочки, обрывки жизни. У меня начинает звенеть в ушах, кровь бухает в висках, а в Здании тихо-тихо, как-то мертво, ветер исчезает в никуда, перестает шуршать газетами. И только в конце коридора, у лестничной площадки, начинает тихо и заунывно скрипеть дверь. Очень странно и упрямо, вот так – скрип, скрип, скрип-скрип, скрип – а потом хлопает. Будто кто-то ходит из коридора в комнату и обратно. Кто-то очень сердитый. Ходит, иногда бахает дверью, а иногда стучит в стену, очень громко, словно со злости кулаком.

Это – самые страшные вечера. Когда туман превращается в вату, Здание даже прекращает душить меня кошмарами – я все равно не сплю. Я сижу в своей комнате, закрыв дверь на задвижку и придвинув к ней стол, сижу, забившись в угол, теребя трясущимися пальцами бахромку пледа, сижу, обливаюсь потом, хватаю ртом воздух, слушаю. Слушаю,

как кто-то в дальнем конце коридора скрипит и хлопает дверью, в ярости бьет по стене кулаком. Иногда дальше, тогда легче, а иногда ближе и громче, тогда я комкаю рукой плед и закусываю губу, чтобы не закричать, а сама все время смотрю на дверь. Я прекрасно знаю, что если он захочет войти, ни дверь, ни стол его не удержат. Но он не входит. А потом наступает утро. Исчезает пугающая тишина и скрип двери, возвращается ветер. Меняется туман. Первые полчаса даже чувствуется облегчение.

Раньше я думала, что для того, чтобы перестать бояться чего-то, нужно это что-то увидеть, узнать, почувствовать. Теперь я знаю, что это правило срабатывает, когда нужно начать чего-нибудь бояться. Я помню, очень ясно помню, как однажды решила узнать, кто же это ходит там, в дальнем конце коридора. Кажется, тогда я еще верила в неуловимого хозяина. Не знаю.

Я открыла дверь и осторожно выглянула в коридор. Тихо – только скрипит дверь и с легким щелчком мигает длинная лампа у меня над головой. В коридоре сумрачно, свет горит лишь местами, и то очень тускло. Дальний конец коридора полностью темен. Я еще тогда засомневалась, стоит ли идти туда, все-таки пуганая уже, зачем нарываться лишний раз... Но потом взяла себя в руки (бессмысленное, идиотское занятие) и пошла на звук. Каждый шаг давался с трудом, казалось воздух густеет все больше и больше, все тело орет, вопит, каждой клеточкой умоляет – не надо, ой, господи, не надо, не ходи, не лезь – а воздух превращается в такую же вату, как туман за окном. А еще становилось страшнее и страшнее – тоже с каждым шагом – просто так, ни с чего, без причины, какой-то животный ужас, паника. Я чувствовала, как она выходит из самого нутра и скапливается облаком вокруг меня. Я дошла до темного участка коридора – от страха начали подкашиваться ноги. Странно, звук ударов и скрип двери почти не приблизились, разве что совсем немного, и в то же время находились очень близко, буквально в метре. Там ничего не было, только страх и звуки, звуки и страх, и...

Я не выдержала и побежала оттуда, как можно быстрее, рванула, как заяц, к своей комнате, к тусклому свету мигающей лампы, к относительной безопасности. А звуки следовали за мной попятам, хлопали двери, мимо которых я пробежала, каждая, по очереди, и возле каждой кто-то бил кулаком в стену, пытаясь пригвоздить мою прыгающую тень. А потом я добежала до своей комнаты, захлопнула за собой дверь и привалилась к ней спиной, тяжело дыша. Я думала, что уже все, мне хватило бы и этого, я готова была держать дверь, если он захочет войти. Дурочка.

Дверь просто распахнулась – с такой силой, что я отлетела к дивану и сильно ударилась головой. Я видела – за дверью никого не было, но все же он находился здесь, в комнате, ходил по ней, разъяренно хлопал дверью, которая начала вдруг заунывно скрипеть. Господи, я сама привела его в свою комнату, я впустила его. Я сидела, скорчившись, у стены, я думала, что сошла с ума. И вдруг он ударил в стену, прямо у меня над головой, так, что пыль полетела. Этот удар был более чем реален. Даже если я сошла с ума, даже если мне кажется, я не хочу, не хочу, чтобы следующий попал в меня! Я вскрикнула, вскочила на ноги, кинулась к двери. Она захлопнулась с грохотом, чуть не расквасив мне лицо, и следующий удар пришелся на дверной косяк возле моего плеча. Я шарахнулась к столу, потом снова к двери, к окну, к дивану... Этот кто-то больше не стучал и не скрипел, он бил изо всей силы, почему-то опаздывал на секунду, попадая по столу, по стене, по подоконнику, по двери, по дивану... Не видел ли он меня так же, как и я его? Не знаю. Зато наверняка хорошо слышал. Я металась по комнате, пыталась выбраться, но дверь не поддавалась. Я задержалась возле нее, дергая изо всех сил ручку, услышала его, обернулась, глянула в пустоту...

Очнулась я уже утром. Вся левая сторона лица болела и, кажется, опухла, как будто мне дали добротную затрещину, а в уголке рта запеклась кровь. Голова гудела. Дверь была распахнута настежь, стол перевернут, плед валялся в углу, в куче битого стекла, возле лежащего на боку дивана. Все. Больше я не выхожу вечером навстречу скрипящей двери и чьим-то кулакам. С меня хватит.

Возможно, когда-то вот так же я не открою кому-то другому, кто появится в Здании,

чтобы я больше не была – я, одна – а чтобы вот так сразу стать – мы. Возможно, все и затевалось именно для этого. Кто-то другой постучит в мою дверь, а я буду сидеть в углу, комкая плед, и бояться. Господи, тоска-то какая. Я очень часто об этом думаю. Зря. Все в Здании – зря. Знаю же, что никого здесь, кроме меня, нет, и не будет никогда. А туда же...

Да, а иногда туман похож на кисель. Грязно-белый густой молочный кисель, который стремится проникнуть в Здание, ощупывает стены в поисках щели, находит разбитые окна и затекает в коридор, медленно, с чувством собственного достоинства разливается по всему этажу и шепчет, шепчет, шепчет... У него точно есть голос – тоненький, трясущийся от постоянного смеха. И пальцы. Иногда мне кажется, что он слепой. Очень любопытный слепой, стремящийся ощупать и узнать все на свете. А все на свете – это Здание. И я в нем.

Туман всегда застает меня врасплох, и тогда начинаются гонки. Он появляется в дальнем конце коридора (кажется, все напасти приходят именно оттуда) и степенно движется в мою сторону, хихикая, заполняет собой пространство. Если я нахожусь не на своем этаже, а чаще всего случается именно так, я кидаюсь к лестнице и бегу вверх, прыгая через две ступеньки. Туман умен, он тоже устремляется вверх, и мы поднимаемся, разделенные бесконечной коробкой коридора, я – убегаю, он – догоняет. Зачем я ему? Не знаю.

На моем этаже мы появляемся одновременно: с одной стороны вылетаю я, задыхаясь больше от страха, чем от бега, с другой стороны выплывает туман, казалось бы, медлительный, но уже никто не верит в грубую сказку об инертном молочном киселе.

Моя комната – точно посередине. Вот тогда начинается самое интересное. Я несусь по коридору, путаясь в складках одежды, навстречу туману, бегу, стараясь думать только о цели, об освещенном дверном проеме, но уже ясно слышу, и с каждым шагом все четче и четче, как бормочет-хихикает белая упрямая гуща, стремительно заполняющая собой пустоту от пола до потолка, чувствую ее непреходящую жадность.

Я не знаю, что случится, если туман меня поймает, может, ничего страшного. Но надеяться на лучшее в Здании – безнадежное дело. Я не хочу пробовать. Что-то внутри подталкивает, гонит меня вперед, дает силы успеть первой. Я влетаю в комнату, захлопываю за собой дверь, хватаю плед и затыкаю им щели внизу, у порога. Я прислушиваюсь к коридорной тишине и успеваю уловить момент, когда туман добирается до моей двери, начинает ощупывать ее, гладить, бормотать что-то сам себе. Он знает, что я здесь, внутри, что я живая, теплая, что я боюсь его, что я прижалась ухом к двери и слушаю коридорную тишину. Он знает это и не уходит, долго-долго не уходит, а я мерзну. Один раз было так, что туман держался двое суток, а у меня закончилась еда. Я чувствовала его за дверью и боялась выйти, а он хлюпал и бормотал, что ему холодно. Я чуть не открыла ему дверь тогда, но вовремя спохватилась. Здесь нельзя жалеть никого и ничего. Даже себя. Себя – бесполезно.

А потом снова начинается ветер, и туман исчезает. Он влипает в небо, делает его серым и каким-то неправильным, и я могу смотреть во двор. Тогда начинаются кошмары. Выходных у меня нет.

ДОМ ПОЛНОЛУНИЯ

Часть вторая

Книга теней

Твой Дом – твоя крепость.

Вчера пил весь день. Сегодня еле хожу, никак не могу сфокусироваться, коридор пляшет перед глазами. Что-то я должен вспомнить. Ах, да. Книга. Вот, собственно, почему я пью, кстати, пригодились бутылки с жуткой дрянью, подписанные «Портвейн». Если бы не

книга, я бы к ним и не притронулся. Вчера я нашел ее, копаясь сапогом в куче хлама на полу в очередной унылой комнате.

Книги в доме – не редкость. В основном это какие-то технические описания, изобилующие словами вроде «карданный вал», «переходник», «ротор» и тому подобное, или же они написаны на неизвестных языках. Один раз, во время особо длительной голодовки, я нашел книгу о вкусной и здоровой пище. Я растоптал ее в клочья.

Но эта книга была особенной. Небольшая, очень старая, истертая, в черном ободранном переплете. Половина страниц вырвана, остальные залиты чем-то темным, прочитать можно едва ли десяток. Но почему-то эта книга сама просилась в руки. И я взял ее, зная, что все неспроста. Я как будто принял вызов. И вот теперь пью. Так получается меньше думать. А ведь, в сущности, в ней нет ничего такого – история, несколько бессвязная, завиральная история. Просто она чем-то связана со мной.

Я читал и боялся дышать, от корки до корки, каждую запятую, каждую букву запоминал, вбирал в себя. Названия у книги не было, на обложке его стерли, были даже видны царапины и вмятины, там, где с картона сдирали краску. Первая половина книги была вырвана, а на той странице, которую можно было прочесть, стояло:

КНИГА МЕРТВЫХ

Дальше было пятно, черное и даже чуть поблескивавшее. Следующими словами были
...обкуранный мальчик, почти любящий жизнь.

Вначале было Слово, и Слово было у Дома, и Слово было Дом.

Дом есть нечто большее, чем сумма всех его частей – пола, потолка, стен, комнат и коридоров, окон и дверей, обитателей и духа.

Кто сражается с Домом, тому надо остерегаться, чтобы самому при этом не стать Им. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя. Дом есть мера всех вещей.

ВСЯКИЙ, КТО ЧИТАЕТ ЭТИ СТРОКИ! ЕСЛИ ТЫ ДОЖИЛ ДО НИХ, ЗНАЙ, ТЕПЕРЬ ТЫ ПРИНАДЛЕЖИШЬ ДОМУ, ОТНЫНЕ И ВОВЕКИ. ПОСМОТРИ В ЛИЦО СВОЕМУ ХОЗЯИНУ. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДОМ!

Собеседник чудовищ улыбается. Он бледен, он больше не похож на человека. Иногда он мрачнеет, как будто вспоминает что-то. Он оставляет следы мокрых подошв в пыли. На нем изодранные сапоги.

Говорящий опустошен.

Дом стоит, свет горит. Из окна видна даль. Так откуда взялась печаль?

Дальше несколько страниц были вырваны.

Это место – НИГДЕ.

Здесь есть тени, тысячи теней, многие из которых знакомы тебе. Когда они проникают в твой мир, случается ночь.

Путешественники здесь теряют сон.

Тени бессильны перед ним.

Он не из их мира.

Он равнодушен, в его руках лунная пыль.

Но как бы они не шли, все равно они придут к Дому, к месту, откуда они вышли.

Кошмар твоего детства, увиденный когда-то в книжке, – огромные звери на тонких ногах насекомых, бредущие по пустыне, и обнаженная блудница на спине одного из них.

Умножающий знания умножает скорбь и тем самым угоден Дому.

8. 16. 7. Здесь он был обречен.

Пока ты видишь зверя в себе, ты человек.

Это несправедливо. Но что есть большая несправедливость, чем ты сам?

ГОСПОДИ, ПОМОГИ МНЕ...

Я дочитал до последней страницы, все не решался перевернуть ее. Меня била дрожь. Ну же, ну, переворачивай. Соберись! Хуже, чем было, уже не будет.

КНИГА ЖИВЫХ

Все дороги сойдутся, когда дрогнет земля.

И все. Больше ни слова, ни строчки. Я прислонился к стене. Книга выскользнула из рук. Кажется, это... Нет. Теперь я пью.

* * *

Ах, да, кстати. Насчет отражения. Оно ведь точно изменяется. Я не помню, кто я, но точно знаю, что раньше я был другим. Давно, очень давно, в самом начале моей жизни в Доме, то есть вообще на заре Вселенной, я поглядел в зеркало, и мне стало страшно – оттуда на меня смотрело отекавшее лицо мужчины, уже начинающего стареть. Тяжелая нижняя челюсть, седая щетина, короткие волосы, тоже как пеплом присыпанные, сумасшедшие глаза, а вокруг них – сеть морщин. Какое-то алкоголическое лицо, честное слово.

Я отскочил от зеркала и схватился за голову. Тогда мне стало в первый раз по-настоящему жутко. А ведь, правда, что было до этого? Помню вспышки, шаги, тупую боль во всем теле, чьи-то голоса. А потом однажды я проснулся в своей комнате на шестнадцатом этаже, на кровати, в куче тряпья. У меня болела нога, на ней четко был замечен шрам, который теперь превратился в еле видную белую полоску. Тогда это был страшный опухший рубец, видимо, от глубокой раны. Еще помню, что я был одет в джинсы, на которые даже смотреть было страшно, не то, что носить, ветхую футболку с полустертой надписью и босиком. Вот и все.

С этого дня началась моя жизнь. Я знал наверняка – это не мое лицо. Дом украл его у меня и подsunул эту маску. Ну не может так быть, я ничего не помню, не помню всех этих лет, а значит, их и не было. Ну не мог же я проснуться пятидесяти лет отроду. Кроме того, мое тело явно не принадлежало пятидесятилетнему.

А потом я долго не смотрел в зеркало. Как-то не до того было. Отрастали волосы.

Когда они доросли до плеч, мне почему-то стало легче. Кроме того, я перестал отчетливо хромать. Тогда я снова посмотрел в зеркало. Теперь отражению было лет 35 от силы. Исчезла седина, щетина теперь стала какой-то рыже-бурой и дикой с виду, разгладились морщины, но глаза, как были, так и остались сумасшедшими. А потом я молодел с каждым разом все сильнее. Иногда даже пугался, что увижу в зеркале лицо ребенка. Вот тогда точно спячу. Но нет, после того, как мне стало лет двадцать, я остановился. Вот уж не помню, сколько дней я вглядываюсь в свое отражение по несколько минут, но не замечаю никаких перемен. Вот только пара свежих царапин, но это дело наживное: как пришло, так и ушло.

Иногда я разговариваю с отражением. Что, дурень, смотришь? – это значит, что мне его жалко. Выходи, лучше по-хорошему выходи! – это значит, что я на него сердит. Иногда я злюсь на отражение, грожу ему кулаками. Оно тоже грозит мне в ответ, но как-то неуверенно. Оно меня боится, вот что. Ведь я могу расколотить его на тысячу кусков, вот оно и боится. Иногда от этого мне легче – хоть над чем-то здесь я властен. Тогда я грожу отражению еще увереннее, а оно прячет глаза и думает, куда бы улизнуть, и тогда я смеюсь.

Однажды, вот так, смеясь, я, не знаю, зачем, схватился за топор. Сначала я рубил кафель в душевой. Крошки во все стороны, серые пятна на стенах. Потом я раскроил умывальник, срубил кран, и оттуда на пол потекла желтоватая жижа, а потом выскочил в коридор и бежал, бежал, изредка останавливаясь, чтобы рубануть стену, дверь или еще что-нибудь, все, что попадется под руку.

Я выбежал на лестницу и стал кричать. Я звал кого-то, я не помню, кого. Я бросал вызов, я хотел ввязаться хоть в какую-нибудь драку и очень долго стоял, выкрикивая в гулкую пустоту пролетов угрозы и оскорбления, прислушивался, как затихает эхо, и снова звал. Но все было тихо. Дом не желал мне отвечать. Только потянуло по коридору сквозняком, послышался знакомый шорох бумаги. Это ветер гонял из угла в угол обрывки газет. Я постоял еще чуть-чуть и пошел назад. По дороге подобрал с пола пустую бутылку и швырнул ее в одну из комнат. Видимо, бутылка ударилась обо что-то железное, такой был звук. А еще она разбилась. А на следующий день Дом сыграл со мной злую шутку.

Я забрался в подвал, в ту его часть, где сухо. Искал там что-то, даже не помню, что, наверно, просто придумал себе дела. Так вот, я нашел какую-то неудобную холодную комнату за тяжелой железной дверью, которую еле открыл (засов снаружи заржавел), и зашел внутрь. Побеленные стены, тусклая лампочка под потолком. Ящики в одном углу, куча тряпичного рванья в другом. Я пошарил в ней носком ботинка – так, остатки жизни, как и везде, – детские платяца, поломанные вилки, оплавленные свечные огарки. Чушь. Это совсем не то, что я бы хотел найти.

И вот тогда, когда я собрался уходить, дверь захлопнулась. Ее никто не подтолкнул, не дернул, просто она сама качнулась на петлях и захлопнулась, как захлопываются форточки от сквозняка. Дверь была слишком тяжелой, и открыть ее изнутри не было никакой возможности. Тут даже ручки не было. Сначала я озверело колотил по ней кулаками и пинал, но ничего не произошло. Потом я увидел окошко под самым потолком. Маленькое такое, но голова, пожалуй, пролезет. А учитывая мою диету, не только голова. Может быть, и все остальное.

Я подтащил к стене несколько ящиков, влез на них, обмотал кулак тряпкой из мусорной кучи и ударил по стеклу. Оказалось, разбивать стекла руками совсем не так просто. Пришлось ударить несколько раз, причем заболели пальцы, а еще я все-таки порезался.

Вылезать было очень трудно. Я выдохнул, втянул живот и ринулся вперед. Труднее всего шли голова и плечи. Для этого пришлось извиваться змеей. Я выгибался, рвал куртку об гвозди и остатки стекла, а потом застрял, но почему-то не в плечах, а в талии. Вот это да – вроде бы, я совсем не толстый. Было несколько неприятных минут, когда я висел, дергаясь, как червяк, где-то под потолком, причем голова оказалась в каком-то непонятном, темном и холодном помещении, а ноги трепыхались в запертой комнатухе. Еще раз напрягся, ободрал живот и спину и вывалился целиком в темноту и неизвестность. Падать во тьму

оказалось жутко, но совсем не больно. Как видно, Дом не хотел моей скорой гибели, потому что я упал в предусмотрительно наваленную кучу тряпья. Я даже не очень ушибся. В потемках шарил по стенам, натыкался на влажные кафельные плитки и отдергивал руку, до того неживыми они были. Потом я нашел дверь, выбрался в коридор. Ну, ясное дело, обычные штучки – дверь соседней комнаты, моей недавней тюрьмы, незаперта и даже приоткрыта. Я стукнул по стене кулаком и рассмеялся. Хороши шуточки. Ты – мне, я – тебе.

* * *

Голова словно бы и не моя. Перед глазами плавают огни, во рту все ржавчина. Есть не хочется, но вроде бы надо, потому что не ел уже очень давно, а долго ли еще. Еда просто не лезет, сразу тошнит, как назло, осталась одна свиная тушенка, древняя, как мир, жирная и пахнущая ботинком. Кроме того, дрожат руки, время от времени прошибает холодный пот, и что-то тупо болит в животе.

Дом насылает болезни.

Тошно от всего этого, и не от этого тоже тошно, просто тошно. Валяюсь в комнате, в кровати. Расшвырял все тряпье по углам, жарко мне, жарко, голова болит. Пару раз выбирался в душевую попить воды, губы высохли и растрескались, вода есть, но омерзительно теплая, кажется, будто в ней все время что-то копошится.

Болит все. Пузыри на лице, руках и груди полопались, теперь печет, пузыри – это ладно, шрамом больше, шрамом меньше. Лежать можно только на спине. На правую руку страшно взглянуть – запястье я обмотал тряпкой, смоченной в растворителе, болело ужасно, но хоть рана не загноилась. А вот ноги...

Ну как я не подумал? Левая от щиколотки до колена покраснела, раздулась, наступить на нее нельзя, поэтому теперь по дороге в душевую я подпрыгиваю на одной ноге, держась за стенку, но все равно очень больно. Хуже того, иногда я перестаю ее чувствовать – просто волочится за мной что-то тяжелое и неуклюжее, а вот это уже совсем дело дрянь. Ведь не такая уж большая рана. Я не знаю, что мне теперь делать, это – заражение, краснота сегодня утром поднялась еще на два пальца против вчерашнего, жарко, жарко и тошнит.

В голове у меня ездит лифт, она растягивается и становится огромной, будто резиновая, и где-то рядом раскачивается огромный маятник, вот так, и никак иначе. Тысячи муравьев ползут, ползут, ползут, ползут, перебирая миллионами лапок, а я должен их считать, ведь это главное, они ползут прямо через меня, туда, где ездит лифт и раскачивается маятник, иногда тень падает на них. Я разрываю паутину этого полусна-полубреда, муравьи исчезают, и режуще-белый потолок вдруг надвигается на меня. Да чего ж он такой белый, кто его побелил назло мне, ведь смотреть же невозможно, а если закрыть глаза, то снова будут муравьи и какие-то оплавленные, искореженные куски железа, сливающиеся в непонятную, и потому жуткую скульптуру – то ли пляшущий человек без лица, то ли прокаженное дерево.

Полз в душевую, пил воду, вот, теперь уже ползу. Дальше будет веселее. Движение хоть чуть-чуть, ненадолго, отгоняет этот омерзительный горячечный бред, когда все вокруг становится то большим, то маленьким. Плохо мне. Если завтра краснота поднимется еще на два пальца, то она перейдет в подколенную ямку, а дальше... Ну что ж, все мы знаем, что будет дальше. Нет, не думать об этом. Я просто сгорю, загнусь от жара, вот уже во рту как сухо, сколько ни пей, а все сухо, есть такое слово – гипертермия, но я не помню, что оно обозначает.

...а начиналось все банально. Я нашел выход. Не так уж давно я переплыл-таки затопленный подвал и в самом дальнем углу поднырнул под дверной проем. Раньше я его просто не замечал – он был полностью под водой, а в тот день воды поубавилось, и он показался. Двери там не было – просто проем в стене.

Вода ледяная. Там, под водой, сразу за проемом, начинались ступеньки – похоже, это было что-то вроде затопленного тамбура. Я еще раз вынырнул на своей стороне, набрал

побольше воздуха и снова опустился. Точно, ступеньки ведут наверх, а там – как будто голубоватый свет. Плыть пришлось недолго. Я вылез из воды в начале длинного коридора, под потолком которого висели флуоресцентки. Вроде ничего особенного. Вдоль стен – толстые трубы, укутанные стекловатой, пол цементный, никаких табличек, никаких дверей. Таких коридоров в подвалах много, обычно ничего, кроме неприятностей, в них нет. Но этот... Зачем было прятать его под землю, закрывать вход холодной водой?

Хотя, с чего это я снова пытаюсь подогнать Дом под свою логику? Собеседник прав, он непостижим. Я отряхнулся, вылил воду из ботинок и пошел по коридору. А что еще делать? Не зря же я мок и мерз. Коридор оказался невообразимо длинным, и чем дальше я шел, тем яснее ощущал мысль, назойливую и очень важную, просто пока никак не мог сформулировать. И только когда я прошел не меньше пятисот метров, я, наконец, решился.

Подвал оканчивается где-то в северной части корпуса. Коридор отходит от дальней стены затопленной секции под прямым углом, потом не поворачивает, не изгибается и не петляет, значит, это еще метров сто-двести на север. Вон, кстати, и стена – значит, там коридор или заканчивается, или заворачивает. А ведь северная часть корпуса ближе всех к Стене – значит, если коридор тянется прямо к ней...

Ну не может так быть. Не может так везти, не должно. Дом не мог позволить мне найти уже готовый подкоп. Я ведь пробовал уже с подкопом. Рыл два дня, вырыл приличную нору прямо под Стеной, вдоль ее бетонного основания, метра на два-три, а на следующее утро обнаружил, что нора до верху полна мутной вонючей жижей, похожей на жирные помои со сковородки.

Нет, кажется, может так везти. Я дошел до дальней стены, это был тупик. Трубы здесь сходились, переплетались и переходили на противоположную стену. Должно быть, это какая-то оригинальная система охлаждения труб без вывода на поверхность. Потому что если вывести их на поверхность, то это будет уже за стеной. Я воровато оглянулся – а вдруг он слышит, о чем я сейчас думаю, – и затеребил кожаный рукав куртки. Да. Я ведь здесь просто так гуляю, я пока еще ничего не делаю. Просто так.

Я потрогал стену. Холодный, чуть влажноватый бетон. Прикоснувшись к нему, я понял, как же сильно дрожат у меня пальцы. Поднял глаза. Кажется, так начинается надежда. Прямо над головой, так, что можно дотянуться рукой (потолок здесь, как и в остальных подвальных коридорах, низкий), – темный квадратный проем. Виднелись железные скобы, вбитые в бетон. Я подпрыгнул, ухватился за одну. Подтянулся, уперся ногами в стену, выбросил вверх правую руку и ухватился за следующую. Так я забрался в туннель. Хорошо, что я мало ем и много бегаю – я стал легкий, почти невесомый.

Кажется, это вентиляционная шахта. Холодно, сыро, темно и тесно. Я даже перестал думать, куда-то ушли колотившиеся висках тоска и тревога, осталось только желание. Я пролез метра три вверх, здесь было настолько темно, что я не видел своих рук и лез на ощупь. Резкий поворот. Руки нащупали пустоту – это шахта повернула горизонтально под прямым углом. Тут было все так же тесно, но хотя бы не нужно искать скобы. Полз я еще метров пять, шахта не делала поворотов, боковых ходов у нее не было. Потом я больно стукнулся головой о невидимую стенку. Все. Дальше ползти некуда. Кстати, если это вентиляционная шахта, почему здесь так слабо со сквозняком? Конечно, воздух не слишком затхлый, но и свежим его не назовешь.

Я лег на спину и поднял руки. А вот и тонкая струйка холодного воздуха, откуда-то сверху. Я не буду надеяться, я спокоен. Вытянутая рука коснулась потолка. Он был едва ли в полуметре надо мной. А это что за железяка? Я нашарил в кармане спички, которые перед заплывом предусмотрительно завернул в резиновые лоскутья от детского надувного круга. Зажглась только третья спичка, и я на секунду ослеп от вспышки. А потом в свете умирающего огонька разглядел, что над головой у меня – железный обод, вроде тех, на которые крепятся крышки канализационных люков. Есть во дворе парочка таких, они до верху заполнены зловонной мутью, а до дна не достает даже самая длинная веревка с камнем.

Так вот, здесь вместо круглой железной крышки была бетонная плита. Кто-то перекрыл выход из люка. Между ободом и плитой была узкая, меньше, чем в палец, щель. Когда спичка догорела, я пошарил по периметру люка рукой. Точно – кое-где из щели веяло ветерком. Я откинулся на спину. Надо отдышаться, хоть чуть-чуть успокоиться. Неужели Дом забыл об этом? Неужели сейчас он меня не видит? А может, это так задумано? Ведь это реальный шанс. Кстати, а с чего это я взял, что туннель ведет наружу? Дом умеет играть с пространством, вернее, он сам и есть пространство, самоорганизующееся по собственной прихоти. Туннель может запросто открываться где-нибудь посреди двора, под кучей щебня. Но даже если это так, то все равно стоит попробовать. Единственная правда, я иду к тебе? Так, а теперь к делу, к делу. Не буду дрожать, не буду сейчас расклеиваться, нельзя мне. Руками я плиту не подниму, топором тоже, для рычага достаточной длины здесь слишком тесно, ведь плиту нужно не просто приподнять, а передвинуть. Если я принесу ломик и буду крошить плиту, Дом меня заметит. А что мне остается?

И я засуетился, как крыса. Что за идиотский все же план – я ведь пытаюсь перехитрить Дом при помощи ржавого ломика... Дом, который ломает время и пространство, и еще черт знает что, который может быть везде и сразу нигде... И ему я пытаюсь подстроить вот такую сопливаю пакость? Я нервно хихикнул. Пора начинать. Все равно лучше я ничего не придумаю. Не успею. Мой рюкзак лежал на первом этаже, перед входом в подвал. Сбежал за ним. Кажется, на это ушла целая вечность. Сейчас я залезу в шахту и буду крошить бетон. Хоть пальцами. Мне теперь все равно.

Где-то вдалеке и вверху грохнуло приглушенно, а потом еще и еще раз, и звук все нарастал. Потом дрогнули стены, и с потолка посыпалась известка. Я пригнулся, прикрыл глаза рукой, и тут начался ад. Сначала на мне вспыхнула одежда, причем как-то неестественно, оранжевым пламенем, больно не было, но я удивился, испугался и побежал. Я бежал по коридору и на бегу превращался в комету. Загоралась рубашка, штаны, даже ботинки. Потом, наконец, пришла боль. Она была такой сильной, что сперва я не разобрал, что это боль – просто стало пронзительно холодно, и где-то внутри поднялась темная, мутная волна, но когда она докатилась до головы, боль пришла по-настоящему. Сразу и везде. Выгорали глаза, пузырилась кожа, волосы обугливались и ломались, а я все бежал и кричал, а за спиной у меня грохотал Дом.

Коридор рушился, погребая под собой мои надежды, и этот обвал преследовал меня по пятам. Сейчас я упаду, и меня, догорающего, накроет тоннами бетона и кирпича. Трубы вдоль стен эта сила сминает, будто они из бумаги. А я для нее – а что для нее я? Мои руки в огне, оранжевые языки выбиваются из пальцев, я сжимаю кулаки, и они превращаются в огненные шары. Вот так низвергаются в бездну. Больно, больно, больно, и вот уже нет ничего, только эти кровавые буквы заполняют меня, и становятся больше меня, пульсируют, переливаются всеми оттенками огня, становятся Вселенной.

Я уже не могу кричать, потому что мне не разлепить сгоревших губ, огонь перехватывает дыхание, и глаза сейчас лопнут. Я не знал, что может быть так больно. Я чувствовал, как умирает тело, как кричит каждой своей клеткой. Дом не даст мне пощады, сколько не проси. Сейчас у меня закипит и свернется кровь. Я ведь просто хотел быть свободен. Я просто хотел выйти прочь. Я же не хотел тебе зла, ну за что ты меня?

Все. Я не могу кричать. Я не могу думать. Я не могу ничего, кроме огненных букв. Я падаю. За спиной стихает грохот, и только его последним отголоском что-то вонзается мне в ногу, чуть выше щиколотки, но я об этом скорее догадываюсь, я уже почти ничего не чувствую, кроме этих букв.

А потом огонь исчез. Разом, как будто его и не было. Я остался лежать на полу, почерневший, покрытый коркой сгоревшей одежды, запекшейся крови и вспузырившейся кожи. Потом я начал беззвучно плакать, потому что голос у меня пропал. Глазам от слез стало больно, и розоватый туман вокруг, и все в этом тумане.

Я не помню, как я пополз. Кажется, вода из затопленного сектора исчезла. Может, на мой путь ушло несколько дней. Сознание окончательно вернулось ко мне только в моей

комнате. Шестнадцать этажей... Как? Помню свое лицо в зеркале – страшная маска из коросты, бугров и пузырей, сочащаяся кровью и еще чем-то. Волосы сгорели, и я стал похож на ящерицу.

Правое запястье было изорвано вдребезги. Куски кожи свисали, как лохмотья, а под ними что-то незащитно белело, может – кость, может – какой-нибудь нерв, я не уверен. Кровь оттуда не текла, края раны нехорошо надулись и полиловели. Я ободрал висевшую кожу с клоками плоти – было уже не больно, просто как будто рвешь тряпку – и плеснул в рану растворителя, он, вроде бы, на спирту. Все равно почти не больно. Или я уже просто привык. Из левой ноги, прямо над ботинком, торчит железа. Глубоко вошла, пальца на четыре. Вытаскивал я ее двумя руками, и даже не кричал, уже не мог. Только потом упал на кровать и, кажется, заснул.

Бред. Забыть. С такими ожогами я должен был умереть давно, ну нельзя так, мне же дышать нечем. А я жив, и мне больно. Боль везде, она меняет лица, она приходит со всех сторон света. Я не могу закрыть глаз, они обожжены, но если долго держать их открытыми, они высыхают, их режет. Все равно я уже почти ничего не вижу. Иногда из тумана на меня наплывает потолок.

Неясные фигуры, появляющиеся из пустоты, рыла, хари, очередная волна боли. Иногда удавалось заснуть, но, право, лучше бы я этого не делал. Во сне возвращался огонь, и я задыхался в нем, и так бесконечно. Жарко. Нечего пить. До душевой мне уже никак не добраться. Нога раздулась, она теперь больше меня и пульсирует изнутри, а в голове у меня лифт... все быстрее и быстрее.

Огромная пустыня, сколько хватает глаз, песок, камни, пыль, и ни капли воды. Небо здесь серое. И я иду по этой пустыне к горизонту, по еле заметной тропинке среди огромных валунов. Круглые, облизанные ветром до блеска, они красноватого цвета, и все здесь такое же – красная земля, рыжее солнце. Непроницаемое небо, серое, серое, а по нему несутся комки разорвавшегося солнца.

Бедная моя голова, заполнившая теперь полмира. До чего же это тяжело, когда твоя голова заполняет полмира. Песчинки стирают меня в порошок, и вот-вот совсем сотрут, и только ветер останется здесь, в выжженной земле. Ветер почему-то ледяной, он пробирает до костей, он сбивает с ног и швыряет в хоровод песчинок. Я ведь просто хотел уйти. Я хотел сам по себе. Вот так. Надо вырваться, нельзя спать, надо придумать хоть что-то, ну, хотя бы считать до ста. Я не должен спать. Во сне-то он меня и схватит. Песок. Песок теперь у меня в голове... Песчинки.

Бух-бух-бухбухбухбух – это мое сердце. Оно теперь бьется вхолостую, да и что толку в сердце, похороненном в выжженных песках.

Дышать. Я должен не забывать дышать, но до чего это все же тяжело. Если я сейчас вытяну руку, она пройдет сквозь стену, ведь в моем мире все стены – как паутина. Вот сейчас я вытяну руку, и произойдет что-то очень, очень важное, я же знаю, я почти на пороге этого...

Не вытяну я руки. Все силы уходят на то, чтобы дышать, но воздух горячий. У меня, наверное, сварились легкие. Бедные, бедные мои легкие. Бедное мое тело, отданное на поругание раскаленной вечности. Бедный мой разум, который все никак не помутится.

Я не могу больше. Правда, не могу. И потолок прямо в глаза.

Меня нет. Совсем нет. Нет больше ничего – головы, рук, ног... Нет боли, только горячая темнота. Так ведь и должно было быть, верно? Ничего больше нет – только Дом и я – бестелесный, но мне от этого не легче. Неужели мне теперь придется бродить по его коридорам без тела, скитаясь от тени к тени, сгорая от жаркой темноты, но теперь уже вечно? Видно, придется. Проиграл я. Проиграл. Проиграл. Проиграл. Проиграл. Проиграл. Есть такой стишок:

**Some are born to sweet delight
Some are born to the endless night
End of the night**

Бесконечная ночь. Тот, кто написал его, был здесь до меня. Он знает. Я знаю. Я видел его следы, это точно. Кстати, я ведь так и не узнал, есть ли у меня душа. Может быть, Дом забрал ее, так же, как и память? И если у меня нет души, то что же тогда бродит в бесконечной ночи, и почему мне так тяжело? А может быть, у меня две, или даже три души, одну Дом забрал, ту, что раньше была главной, а остальные все никак не могут решить, что делать дальше. Ну, даже если так, то теперь у них предостаточно времени – целая горячая вечность... Скудное место эта ваша вечность, особенно если попадаешь туда с бухты-барахты.

Дом, а ведь там все-таки был выход.

Убили меня. А за что – не знаю.

Темнота. Горячая темнота. Теперь, кажется, навсегда.

Перед глазами – только темнота. На много сотен лет. И ничего больше. Как же я хочу сойти с ума.

Потом в ней появился мутный желтый свет, будто по луже разлитый. Наверное, спустя несколько веков.

Горячая темнота отступила, вместо нее пришла непроглядная серая муть, но в ней все же что-то было – я сам. Я снова ощущал свое тело, более того, оно болело, но как-то по-новому. Кажется, со мной что-то происходило.

Сероватый свет лампы, чьи-то торопливые пальцы, разжимающие мне челюсти...

грязное эмалированное ведро, остро пахнущая жидкость...

кто-то, закутанный в зеленую робу, густо испятнанную бурым...

кухонный нож, кривой и ржавый, и им этот кто-то упрямо тычет меня в живот...

его неясное, но все какое-то гнойное лицо, склонившееся прямо ко мне, зловонное дыхание...

«уже задышал...еще раствора... парамедиально, козел, парамедиально... тут пунктируй...гипоосмолярный давай... фибрилляция...»

кто-то копошится у меня внутри, а я лежу, беспомощный и раскрытый, словно чемодан...

какая вонь, подвальный воздух, никак не иначе...

грязь...

«реберные кусачки подай...»

треск кожи и смачный капустный хруст...

«по средней линии... веди по средней линии... поддень, поддень, ну че, лей сюда... ишь, пошло...ща задержается... вот тут поддержи... ну, все, поехали...»

Я в своей комнате. Просто лежу на кровати, усталый, разбитый, в куче лохмотьев. Просто лежу. А вот сейчас слезу и пойду. Я подковылял к стене. Провел рукой по лицу – не больно. Кожа как кожа. Многодневная щетина. Посмотрел на руки. Ничего. Совсем ничего. Неужели не было подвала, взрыва, забвения? И если не было, то почему на полу возле кровати валяются обугленные лохмотья моей старой куртки? И откуда этот свежий шрам через грудь и живот?

Кто же из нас победил?

* * *

Ежедневный обход шестнадцатого этажа. Вечереет. Из комнаты в комнату и дальше по коридору. Одинаковые двери буровато-зеленого цвета, торчащие из стен провода, мокнувшая штукатурка напротив душевой. Все знакомо до боли. И пусть эти комнаты каждый день меняются местами, а коридор время от времени изгибается по-новому, все остается прежним. Я наверняка знаю, что за комнатой с выбитым окном и щитом ГТО в углу будет туалет, а маленькая кладовка с надписью «Чурка – лох» на стене будет где-то возле актового зала. Пожалуй, только актовый зал остается на месте. Наверное, он слишком велик и

неповоротлив, чтобы его двигать. Я разбил на дрова уже восемь рядов кресел, осталось еще пять и маленький помост вроде сцены. Потом топливо придется таскать с нижних этажей, как раньше.

Вечный сквозняк ползет по спине и шевелит волосы. Они у меня снова отросли до плеч. Сквозняк особенно ясно дает понять, сколько дыр в моей куртке. Ее я нашел на умывальнике в душевой уже достаточно давно. Страшно ободранная джинсовая куртка, но все же лучшая замена сгоревшей кожаной, потому что Дом издевался и подсовывал только сарафаны для семипудовых купчих или пропитанные нефтью ватники. Еще были кучи хлама, источник радости, но последнее время в них попадались только ползунки и мыльницы, притом каких-то диких цветов. А еще неожиданно началась зима, я простудился и без куртки мерз ужасно, ходил, закутавшись в одеяло, а это неудобно.

Голубенькие стены, облупившаяся краска, из стен местами торчат гвозди, кое-где заметны светлые прямоугольники – наверное, здесь висели щиты ГТО или еще какого-нибудь ТО. Разломанный ящик ПК-26, в котором я нашел кучу окурков. Флуоресцентка, третья от угла, против всех законов заливается малиновым светом. Дыра в рыжем линолеуме с обожженными краями, в нее виден бетонный пол, здесь почему-то особенно холодный. А вот здесь течет крыша. Потолок желтый, и когда идет дождь, на полу собирается огромная лужа. Сидя у этой лужи, я вязал веревочную лестницу, чтобы потом выбраться из окна шестого этажа на Стену. Был такой сумасшедший план с раскачиванием на тарзанке. Закончилось это совсем не так, как я предполагал. У меня, кажется, насовсем отбило охоту куда-то прыгать.

А вот здесь я выцарапывал гвоздем на известке палочки, считая дни. Не помню, отчего я начал их считать. Я сделал 58 отметок, а после заболел на два дня, не выходил из комнаты, а когда вернулся, отметин было 8, а еще через три дня – 281. Сейчас на стенке было три аккуратные черточки. Удивительно. У меня есть прошлое, правда, в нем нет дат. У меня прошлое без времени.

А вот сейчас коридор делает поворот, и дальше, до самого актового зала – пустые комнаты безо всякой мебели, если только железных уродов и колченогих калек можно назвать мебелью. Стены некоторых из этих комнат выложены кафелем, а окна замазаны белой краской. От нечего делать я стал заходить в каждую из них. Не то чтобы я хотел что-нибудь найти, а просто нужно было убить время. Потому что спать не хотелось. Да, здесь, как и везде, ничего не переменялось. Только, похоже, по углам прибавилось пустых бутылок.

В шестой по счету комнате окно было выбито, туда задувал мокрый ночной ветер. Уже совсем стемнело, и ночь, кажется, была безлунной. То есть, это я придумал, что она была безлунная. Просто с неба не лился серебристый нездешний свет, от которого стены в коридоре поблескивают синим. Сегодня было просто темно, остался только свет от нескольких мощных прожекторов на моей шестнадцатой этажке. Один из них, тот, что укреплен на подвижной раме, слегка раскачивается на ветру и шарит лучами по двору, как раз под окном. В луче танцуют капли тумана. Ночью туман приходит во двор и заполняет его доверху. На земле, в пятне луча, словно из ниоткуда, появляются кучи мусора, бочки и канистры, из которых перед корпусом сложена пирамида, темные лужи, доски и бревна, кирпичи, непонятные бетонные конусы.

Я высунулся из окна почти наполовину. Время сегодня настолько вязко и безлико, что его просто необходимо чем-то раскрасить. Хотя бы вот этим томительным и сладко-жутким ощущением – перегнуться через подоконник и, лежа на нем животом, высунуться наружу наполовину. Сначала можно закрыть глаза, и тогда чувствуется мокрый ночной ветер, а сам ты наполняешься Ожиданием – вот откроешь глаза, а там, под тобой – шестнадцать этажей тьмы и пустоты, и только где-то внизу, в неизвестности, скалится неухоженная, израненная земля. А между ней и тобой – пустота и туман.

Туман набивается в рот, и если не открывать глаз, то кажется, что летишь. А потом, если их быстро открыть, то темнота и туман бросаются в лицо, черная земля надвигается, а

камни и доски, ползущие в пятне прожектора, летят навстречу. Тогда понятно, что вовсе ты не летишь, а падаешь, или вот-вот упадешь. Одно неверное движение – и ты слишком перегнулся через подоконник, еще секунду будешь пытаться удержать равновесие, хватаясь за стену, напрягаясь и выгибая спину, и тем самым еще больше высунешься, и будет короткая борьба между тобой и силой тяжести, и сила тяжести победит, и ты, последний раз дрыгнув ногами, нырнешь вниз головой в шестнадцать этажей пустоты, ночи и тумана.

Кто его знает, а вдруг перед тем, как встретиться с бетонными блоками, щебенкой и намертво утрамбованной землей, ты научишься летать? Когда я думаю об этом, лежа на узком подоконнике, я еще сильнее вцепляюсь в него. А сердце колотится быстро-быстро, и какая-то странная теплая боль протыкает насквозь, и от этого пусто становится внутри, а в ушах позванивают колокольчики. И если чуть-чуть подождать и немного успокоиться, то можно отпустить подоконник и вытянуть руки перед собой, словно ты ныряешь в ночь, но теперь уже по собственной воле, а потом развести их в стороны, как крылья. И замереть так на секунду, натянувшись, как струна, цепляясь за спасительную точку равновесия. И тогда ветер будет играть волосами, между пальцами растечется туман, а ночь запоет на тысячу голосов.

Вот так можно провести вечер в разбитом окне шестнадцатого этажа. Но сегодня мне что-то не хотелось. Я просто выглянул. По земле металось пятно света, два луча уходили с крыши и терялись где-то среди корпусов. Холодало.

Из этого окна виден почти весь мой корпус. Этот шестнадцатизэтажный монстр изогнут буквой Г, и мой наблюдательный пункт находится почти в конце короткого плеча. Вон там, на другой стороне крыла, под крышей, угловая комната – это моя. Я специально зажег там свет, когда уходил, и теперь на фоне общей темноты мне светит желтый прямоугольник, создает иллюзию уюта.

Я постоял немного, уже собирался уходить, но тут произошло Событие. Я не сразу понял, что же случилось. Просто на четвертом этаже, за два окна от торца зажегся свет. Это явно не походило на шалости Дома с освещением – он любил поиграть, но делал это как-то лихорадочно, по-сумасшедшему. Свет, например, вспыхивал на несколько секунд на всем этаже, потом гас, потом снова вспыхивал, или попеременно включался то в одной, то в другой комнате, от чего этажи становились похожими на елочные гирлянды с бегущими огоньками.

Сейчас было не так. Просто в окне четвертого этажа зажегся свет, и оно стало желтым и уютным. Свет не мигал, не гас, я затаил дыхание и не отрываясь смотрел – может, это снова наваждение? Я ждал – минуту, другую, третью. Свет не гас. Несколько раз мне показалось, что в глубине комнаты кто-то прошел, но было слишком далеко, и я не мог сказать наверняка.

В комнате кто-то был. Кто-то пришел туда, прочь от холодной пустоты коридоров, зажег свет и теперь сидит за столом. Кто-то, такой же, как я, – в этом я был уверен.

Окно по-прежнему светилось. И тогда я побежал, так быстро, как только мог. Выскочил в коридор и понесся к запасному выходу.

Неужели я здесь не один? Неужели закончилось мое нескончаемое падение в ночь? Ведь если я найду кого-нибудь, если мне удастся добежать, значит, Дом допустил ошибку, значит, его можно победить. Ведь он уже почти свел меня с ума, почти убил во мне всякую надежду – оставил ровно столько, чтобы я мог подняться утром и вновь, и вновь, и вновь плестись по бесконечным коридорам. Стоит только подумать об этом, как хочется уткнуться лбом в стену и закричать, заплакать, пожаловаться, позвать... Но кого? Кому? Именно сейчас, когда я увидел свет в окне, до меня дошло, насколько же я одинок – космически одинок – и от этого уже почти спятил. Хотя, почему почти? Мне ведь просто не с кем сравнить свое безумие. А может, я спятил настолько, что выдумал и Дом, и все остальное – может, я просто долго и одиноко живу в заброшенном общежитии, и у меня начались галлюцинации.

Я, кажется, начал немного задыхаться. Бежал по лестнице, прыгал через четыре

ступеньки, а на стенах мелькали номера этажей. Между десятым и девятым я поскользнулся, пролетел полпролета и упал, но не успел даже почувствовать боли, сразу вскочил и бросился дальше.

Мне бы только найти кого-нибудь живого, чтобы он не проходил сквозь стены, не таял в воздухе и не произносил слова наоборот. И тогда все будет хорошо. Мне все равно, кто он, что он здесь делает, как встретит меня. Я смогу рассказать ему все, все, что знаю о Доме и о себе, я буду слушать все, что расскажет мне он, а потом мы будем сидеть и смотреть в ночь, и Дом со всем своим безумием превратится в шута.

Наверное, там, в далекой светлой комнате сидит она – та, чью пожелтевшую фотографию я нашел однажды на стене в комнате, которая на следующий день выгорела на очередной Черной Свадьбе. У нее длинные волосы и серые глаза, которые в темноте зеленеют, и легкие пальцы, и серебристый смех. Сейчас она сидит в углу на пружинной кровати, поджав ноги к подбородку и обхватив колени руками, сидит и смотрит, как за окнами день превращается в ночь. Она еще не знает, что я есть. А я есть, я иду. Я войду и скажу: «Здравствуй. Ничего не бойся, мы победили». Вот так. Сразу – мы. Только бы успеть добежать.

Вот я и на нужном этаже. Забежал в комнату, выглянул в окно – свет все также горел, и я точно разглядел, что в глубине комнаты кто-то двигался. А передо мной еще длинный, очень длинный коридор. И я побежал снова. Двери, двери, двери, повороты, темнота проемов и снова двери, двери, двери.

Я повернул за угол. В дальнем конце коридора из-под двери выбивался лучик света.

Ну, еще чуть-чуть!

Эй, это я.

То, что должно было быть криком, получилось хриплым шепотом. Но ничего. Я добежу, и все будет хорошо. Вот до двери десять шагов, восемь, пять. Как гремят мои шаги. Свет все не исчезал, и я кинулся на дверь всем телом, широко распахивая ее, навстречу тому, что ждет меня там.

За дверью были сумерки, мутное окошко, пружинная кровать в углу, кривоногий стол, тряпье на полу, в середине комнаты – почему-то два кирпича и куча пепла между ними. И никого. Только затихающий звук сбитого запыленного дыхания, неужели это я дышу так громко?

С минуту я стоял, ошалело оглядываясь, а Дом праздновал очередную шутку далеким перестуком капель, шорохом и скрипом, похожим на смех. Он снова выиграл.

Я не сказал ни слова. Не ругался, не колотил кулаками по стенам. Он плюнул мне в лицо, он подловил меня. Но я промолчу. Я молча закушу губу, развернусь и спокойно уйду.

Я так и сделал. В тот же вечер я отыскал на пятнадцатом этаже давно примеченную подсобку. Там на полках, кроме всего прочего, была бутылка с какой-то жуткой технической дрянью. Я выпил всю бутылку прямо из горла, сначала закашлялся, но потом пошло легче. Стены поплыли, ноги стали гнуться и идти совсем не туда, зато в голову пришло радостное состояние оцепенения и непонимания, которое обернуло меня, как одеяло. Наверное, не доживу до утра, потому что это явно технический спирт, пусть, все равно.

Я заполз в какую-то комнату, еле-еле влез на кровать и попытался закрыть глаза, но они то и дело открывались сами по себе, а перед ними танцевали стены. Потом кровать подо мной стала качаться, словно плыла по морю, а комната закружилась, и я удивился, почему после всех этих приключений меня не вырвало, и это не замедлило произойти. А потом я провалился куда-то в темноту, где тысячи радиоточек наперебой орали мне в уши.

– Послушай, послушай, – голос ворвался в мою темноту откуда-то сверху, и я понял, что вовсе не умер, а лежу на чем-то лицом вниз, у меня раскалывается голова, во рту сухо, тошнит, глаз я открыть не могу, и при этом кто-то дергает меня за рукав.

– Послушай, ты не знаешь, где моя мама?

Меня подбросило от неожиданности. Надо бы изловить остатки сознания, но, похоже, они для меня слишком шустры. На секунду мне удалось приоткрыть глаза, но там был туман,

и только что-то выдвигалось из него, то приближаясь, то удаляясь, рассыпаясь на тысячу кусков и вновь собираясь в нечто невообразимое.

Мама. Ну вот, я наконец-то сошел с ума. У меня бред. Наверное, ко мне возвращается память.

– Послушай, ну, пожалуйста, не лежи так, помоги мне, ну, пожалуйста, мне страшно, ну, не лежи так...

Голос был детским, перепуганным и слабым. Кто-то снова подергал меня за рукав, настойчиво и умоляюще. Я предпринял героическое усилие, способное сдвинуть стотонную глыбу, но его хватило только чтобы повернуть голову и еле-еле приоткрыть глаза. По ним рубанул свет, до того противный, что и сказать невозможно, с ним в голову воткнулся ржавый кровельный гвоздь боли. Но я не закрыл глаз.

Сначала вокруг были муть и туман, потом из него показались четыре фигуры, и не разглядеть, каких. Потом их стало две. Я поморгал, и передо мной осталось одно туманное нечто, но я все никак не мог сфокусироваться, в голове был цемент. Оказалось, что я лежу на кровати с пружинным матрасом мордой в луже блевотины. Я попытался приподняться, получилось это у меня гораздо хуже, чем я хотел. Я оперся на правую руку, а левой вытер лицо.

– Ты ведь меня не бросишь, правда? Ты хороший, я знаю. Мне так страшно, правда. Отведи меня к маме, пожалуйста.

Я стал различать контуры предметов. Комната была самая обычная. А прямо передо мной стояла девочка лет шести-семи, с косичками и в зеленом платице. У нее было заплаканное лицо и огромные очки. На шее болталось простенькое ожерелье из белых, красных и зеленых бусин. Мне вдруг стало остро стыдно, потому что, кем бы она ни была, от моего нынешнего вида ей не станет ни легче, ни веселее.

– Как здорово, что я тебя нашла, – сказала она и еще раз подергала меня за рукав. Я ничего не смог ответить и только смотрел ошалело. Я ничего не понимал. Нет, будем думать, что это бред.

– Помоги мне, пожалуйста, – сказала она и протянула мне руку. Я машинально подал ей свою. Ладонь у нее была горячая и потная. Я смотрел на нее, все никак не решаясь поверить, а она болтала без умолку.

– Понимаешь, сегодня мы с мамой были в парке, мы там кормили уток, там утки замечательные в пруду, пруд не замерзает, и там все время утки, вот, а потом мы пошли домой, и я все время держала ее за руку и только на минутку отпустила, и тут же потерялась. Я ее стала искать, и уже почти нашла, а потом я шла мимо одного двора, и мне показалось, что она там и зовет меня, и я побежала к ней туда, во двор, но это была совсем не мама, это был он, – тут девочка всхлипнула и кивнула куда-то в сторону двери. – А потом оказалось, что я здесь. Это все он, правда? Это ведь он так сделал, да?

Она явно ждала ответа. Я для нее был большой и сильный.

– Правда, – выдавил я, и получилось мерзкое хриплое мычание, но ее это вполне устроило.

– И он тоже был здесь, и погнался за мной, по лестнице, а потом по коридору. Но я спряталась здесь, он ведь сюда не войдет, правда?

Тут до меня почти дошел смысл происходящего, но как-то не до конца. Одно я понял точно – не выношу, когда плачут дети. Она готова была снова расплакаться, а значит, надо что-то делать. Если я буду вот так валяться пень пнем и мычать, она точно заплачет. И я сделал еще одно титаническое усилие.

– Он? – спросил я, на этот раз уже более внятно.

– Он, ну да, он. Он там, – она снова кивнула на дверь, за которой был темный коридор. – Но он сюда не войдет, он тебя боится. Он темный и весь как паутина, он за мной гнался, притворился мамой и гнался, но я его узнала, у него глаза, как у вареной рыбы.

Я окончательно уселся, выяснилось, что меня бьет заметная дрожь.

– Пойдем, мне надо к маме, выведи меня, пожалуйста, там надо через коридор, а я одна

боюсь.

Я поднялся, отчего комната сразу завертелась, и пришлось схватиться за спинку кровати. Нужно было идти. Неизвестно, куда, а точнее, в никуда, неизвестно, как, а точнее, никак, но идти надо. Я взял ее за руку и проговорил:

– Ну, пошли к маме.

Если там, в коридоре, и правда кто-то есть, а почему бы ему там не быть, то топор очень даже пригодился бы – устало подумал я, но вспомнить, куда же я его забросил, оказалось совершенно невозможно, да и толку от него в моем нынешнем состоянии... Может, им бы мне и раскроили череп. Я представил себе существо, сотканное из паутины и темноты, которое стоит в коридоре и поджидает меня, чтобы треснуть по голове чем-нибудь тяжелым, и хмыкнул. Очень может быть.

Мы направились к двери. Я держал девочку за руку и тупо смотрел прямо перед собой, пытаюсь определить, что сейчас, день или ночь. В комнате было вроде бы светло, зато в коридоре стоял непроглядный мрак. Она все время что-то рассказывала, иногда я пытался понять, что именно, но все терялось в головной боли. Мы идем искать ее маму. Вот сейчас мы продефилируем по коридору пятнадцатого этажа, упремся в стену, повернем назад, а потом тварь, которую можно узнать по глазам, выпустит нам кишки. Великолепно. Но я не остановился.

– Не бойся, – выговорил я. – Все будет хорошо. Мы найдем твою маму.

– А я и не боюсь уже, – сказала она и прижалась ко мне. – Мне с тобой не страшно.

Я держался за стену правой рукой, чтобы не упасть в темноте, левой сжимал ладонь девочки, и мы ковыляли.

Почему она мне верит? Ну почему именно мне? Как можно мне верить, если я сам себе не верю? Зачем она хочет вырвать меня из привычного равнодушия к себе и ко всему остальному? Я живу по привычке. Наверное, это от страха и одиночества. А теперь, когда я держу ее за руку и куда-то веду, мне приходится заново учиться, пусть не надеяться, но верить в себя. Неужели во мне все-таки что-то осталось? Что-то, о чем я сам не догадываюсь? Я представил ее глаза, серые, печальные, за толстыми стеклами очков, и сказал:

– Не бойся, все хорошо. Ну, почти все. Мы же идем к маме, ты видишь.

Я ее не обманывал. Мы и вправду шли к ее маме, только я пока не знал, как это сделать. Но она обязательно должна вернуться домой, я не отдам ее Дому, не отдам. Ведь это гадко, заманивать потерявшихся детей в подворотни. Гаже и не придумаешь.

Так мы шли. Я, неестественно и деревянно, и она, уверенно, словно и не было темноты, а может, ей было светло. Очень возможно, что за нами в темноте крался кто-то третий, весь будто из паутины, с глазами мертвой рыбы. Иногда мне слышались голоса и шепот, но она не замечала их, и я думал, что это, может быть, ветер.

– Мы ведь уже почти пришли, правда? – спросила она.

– Почти.

Мы сделали еще несколько шагов. Вдруг она выдернула ладонь из моей руки и бросилась вперед, я от неожиданности зашатался и схватился за стену обеими руками.

– Мамочка! Мы тебя нашли, нашли! – кричала она легко и радостно кому-то, кто, должно быть, находился впереди. Ее голос удалялся, шаги звучали все тише и тише.

– Постой! – крикнул я. – Ты куда?

– Там моя мама! – закричала она из какого-то неизмеримого далека, кажется, кто-то подхватил ее на руки, потому что она засмеялась. В темноте я ничего не видел.

В спину мне ударил поток холодного воздуха, который несся ей вдогонку по коридору, он был какой-то осязаемый, словно бы меня ухватили сотни мокрых щупалец, ухватили и бросили, ведь им было не до меня. Но они опоздали. Смех, шаги, голос – все исчезло, как будто где-то закрыли дверь. И тогда включился свет. Я рухнул на пол и закрыл лицо руками. Лампы полыхали на полную мощность, а Дом кричал, обозленный, разъяренный, обманутый. Крик несся из радиоточек, из дверей пустых комнат, с лестничных клеток. Тонны кирпича,

бетона и железа скрипели и рычали. Крик разрывал голову на части. Я катался по полу и зажимал уши руками.

Все стихло. Мало-помалу, как будто к Дому вернулось самообладание, он замолчал, и тут засмеялся я. Я лежал посреди коридора, хохотал и не мог остановиться.

– Ну, что, всемогущий? Сделали тебя, да? Сделали, сделали, я же вижу, и как... Красота... Ах ты, недоделанный...

Даже Дом иногда бывает бессилён. Видимо, расстроенный и в разбитых чувствах, он на время оставил меня в покое. Я поднялся на ноги и пошел туда, откуда в последний раз донесся голос. Там, где-то в конце коридора, должна быть спрятана дверь отсюда. Я еще не знаю, на что она похожа, но она обязательно должна быть, а иначе как девочка смогла уйти, а ведь она ушла, значит, это возможно, значит, я могу идти дальше, как бы ни издевался надо мной Дом.

Тут из стены появился Собеседник. На этот раз он был помятым селедкообразным алкоголиком. Он посмотрел на меня, упер руки в бока и сказал:

– Всегда тебе удивлялся. Ты с такой готовностью играешь в предложенные тебе игры, что аж тошнит.

– Чего?

– Вечно ты разыгрываешь какого-то обморочного героя. Вот и сейчас... Ну чего ты напрягался? С чего ты взял, что это все правда, что это на самом деле было? «Мы пойдем, мы придем...» У тебя не жизнь, а дешевая мелодрама, романтические сопли для детей и подростков. Надо было ее трахнуть или топором заехать, вон у тебя топор какой хороший... По крайней мере, ты бы доказал, что можешь отвергать чужие правила. А так – что... Тьфу... Благородный герой с похмелья на очередном пепелище. И ты еще болтаешь о свободе?

– Я не мог отдать ее Дому. Не мог, и все.

– А с чего ты взял, что это был именно Дом? Может быть, это просто постоялец – желанный гость, который, в отличие от тебя, живет по своим законам. Так что гордиться тебе нечем, а мне с тобой общаться скучно. Ты мне неинтересен.

Он шагнул куда-то в сторону и истаял совершенно. Ничего, скоро снова явится. А я пошел дальше.

Там, в конце коридора, был тупик. Оказывается, в темноте мы зашли в одно из боковых ответвлений, которые заканчивались кладовками и пустыми комнатами. Больше там не было ничего. Я сел у дальней стены на пол. Может быть, дверь открылась именно здесь, а может, и не открывалась никогда, может, Собеседник прав, и это очередной спектакль, специально, чтобы я не падал духом и продолжал развлекать Дом беготней. А что, очень похоже. Обычная похмельная галлюцинация.

Я старался думать о том, что мне все это привиделось, и огорчаться как можно громче, даже сказал вслух: «Ну и фигня!» – специально, чтобы Дом услышал, а тем временем сжимал в кармане кулак, а в нем то, что я нашел у самой дальней стены – порванный шнурок и горсть красных, белых и зеленых бусин.

* * *

Сегодня опять приходил Собеседник. Я уже засыпал, было холодно, и я навалил на кровать кучу всякого тряпья и теперь старался зарыться в нее поглубже. Из окна веял пронзительный сквозняк. В Доме нет ни зимы, ни лета, теплые дни сменяются холодными совершенно неожиданно. Пару раз был даже снег, двор побелел, и на снегу появились следы, сразу и много – полозья, подошвы, лапы. Я выскочил во двор и стал ловить воздух руками – ведь должен был кто-то эти следы оставлять. Потом я пошел по одному из них, чьи-то изящные сапожки проступали на снегу прямо передо мной, просто полотно снега вдруг проваливалось, и оставался след, как будто кто-то мягко и осторожно ступал. Я шел по

следу, пока тот не оборвался у Стены. А на стене в этом месте – ни щели, ни трещины, обычный серый бетон. Я замерз, а после стал танцевать какой-то странный танец, который сам же и выдумал. Так я праздновал снег.

Так вот, я уже почти заснул, и тут раздалось знакомое покашливание. Когда Собеседник в добром настроении, он кашляет. У него это получается хитро. Кашель шел откуда-то снизу, из-под кровати. Вот здорово – подумал я – это Собеседник. А я уже так давно с ним не болтал. И заглянул под кровать.

Точно, это был он. На этот раз он оказался мордатым карликом с такими седыми волосами, что они казались зеленоватыми. Он сидел под кроватью, скрючившись, но все же вполне там помещался. Росту в нем было не больше метра. Я свешивался с кровати головой вниз, и волосы мели пол.

– Не смотри на меня! – пропищал Собеседник.

Я ничего ему не ответил, но и свешиваться не перестал.

– Не смотри сюда! – еще громче заверещал он и удивительно ловко ударил меня кулаком в челюсть. Я поднялся, улегся поудобнее. Мы долго молчали.

Когда Собеседник появился здесь первый раз, я очень испугался. Я кинулся бежать по коридору, запирая за собой все двери, а когда забежал в самую дальнюю комнату и там закрылся, он, конечно же, встретил меня, сидя на подоконнике. Тогда он был толстым человечком среднего роста. Когда я понял, что бежать больше некуда, мы заговорили. Поначалу это было трудно. Я ему не доверял, жался в угол и искал что-нибудь тяжелое, а когда он увлекся болтовней, я швырнул в него бутылкой и кинулся с кулаками. Бутылка пролетела сквозь него и разбилась, а я несколько раз ударил пустоту. Собеседник нисколько не обиделся. Он вообще относился ко мне, как к идиоту, на которого можно разве что досадовать. Тогда он казался мне воплощением Дома. Он все время смеялся надо мной. Я его ненавидел. Собеседник менял лица, появлялся из ниоткуда и исчезал в никуда, выходил из стен и входил в закрытые двери. Он был бездельник и бродяга.

Иногда он появлялся очень часто, почти каждый день, а иногда исчезал надолго, так, что я успевал о нем забыть. Постепенно я привык к нему. Если я задавал ему вопросы о Доме, он отвечал уклончиво или просто смеялся. Если я спрашивал о нем, он злился и кричал, а иногда дрался. Странно – сам он был совершенно неощутим и прозрачен, но его пинки и оплеухи были вполне чувствительны. Бил он больно. Когда Собеседник бывал в дурном настроении, он скверно острил и насмехался надо мной. Впрочем, он всегда был в дурном настроении. Я почти не обижался – с Собеседником можно было поговорить. Пусть ни о чем. Например, я спрашивал его, почему на трубах отопления в коридоре был иней, а он отвечал:

– И ты еще спрашиваешь. Это же элементарно, как мычание, как капли с потолка. На себя лучше посмотри.

Я не уверен, понимал ли он сам, о чем говорит.

Я спрашивал, что такое Дом, и интересовался, был ли он снаружи, ведь у него так здорово получается проходить сквозь стены. Это ему льстило, и он начинал бессвязно рассказывать о далеких землях с неизвестными мне именами. Тогда он становился похож на радиоточку – те тоже болтали о вещах, мне непонятных. Потом вдруг обнаружилось, что он врет. Он путал названия, по несколько раз рассказывал одну и ту же историю, постоянно изменяя то детали, то весь ее смысл.

Сначала я не знал, о чем рассказывать Собеседнику. Отмалчиваться не получалось – он требовал диалога. Тогда я стал говорить о своих путешествиях по Дому, о том, что я делал днем раньше, и еще, и еще, и неделю назад, и совсем давно. Я рассказывал, что если подняться на крышу, когда день превращается в ночь, то видно, как за Стеной, насколько хватает глаз, простирается туман, и кажется, что ты стоишь на берегу седого моря, а оно шевелится, будто живое, и переливается через Стену, льется во двор, обволакивает Дом. Я рассказывал, что побывал уже в трех корпусах, и что в одном из них я чуть не погиб, потому что подо мной обрушился лестничный пролет. Сначала ступеньки задрожали, мелко-мелко, а

потом что-то заскрипело, и я оказался в пустоте, и стал падать, но успел ухватиться за перила – они изогнулись вопросительным знаком и висели над пустотой. Я тогда очень испугался – рассказывал я Собеседнику, а он кивал, но уже не снисходительно, а как-то понимающе.

Потом я начал рассказывать ему свои сны. Кошмары – ведь другие мне здесь почти не снились. Так и говорил: «А вот сегодня мне приснилось...» А он слушал, даже говорил что-то путное. Кажется, он пытался мне что-то объяснить, но мы общались на разных языках.

Потом я вдруг понял, что он вовсе не всемогущ – он точно так же беспомощен, как и я. Он никогда не бывал снаружи. Он не знает, что происходит с ним. Ему неизвестно, зачем Дом держит его здесь, зачем он держит меня. Иногда мне казалось, что Собеседник – это домовой, согнанный со своего места за ненадобностью. Он бродит здесь, такой же неприкаянный и несвободный, как я, и тоже ничего не понимает. Домовой без дома. Просто ему известны какие-то другие законы, и он знает о Доме что-то, до чего я пока не дошел, а может, просто не разглядел. И еще я догадался, о чем же мы, собственно, беседуем. Оказывается, мы просто делились иллюзиями. Когда – болью, когда – дымом. Когда я понял это, мне стало легче с ним общаться. Я больше не задавал вопросов, а он стал мягче и откровеннее. А может, мне показалось. Иногда я думаю, что Собеседника не существует вовсе. Может, он – продолжение одного из моих кошмаров, его осколок, вклинившийся в дневную жизнь, а может быть, он – это я. Не все ли равно?

Вот и сегодня мы долго молчали, а потом он спросил:

– Ну, что у тебя?

– Да ничего особенного – опять вода.

– А-а, вода. Никто больше не стучит?

– Стучит. Я не открываю.

– И не надо. Себе дороже.

– Знаю, знаю. А у тебя что?

– А что? Туман. Туман – он и есть туман.

Тут мы снова надолго замолчали.

Вода... Это очередная милая шутка. Иногда посреди ночи я вскакиваю оттого, что слышу воду. Она ревет и захлебывается сама собой, бушует где-то в коридоре, и вот уже весь коридор заполнен ею, он превращается в бурную реку, которая несется вдоль бетонных берегов на лестничную клетку, чтобы потом исчезнуть где-то внизу. Тогда я зажигаю свет и прячусь в угол, сжимаюсь там, уткнувшись подбородком в колени, и меня трясет, как в лихорадке. Я смотрю на дверь, а за ней шумит вода, много воды, так много, что стены вот-вот упадут под ее натиском, и она польется из всех окон шестнадцатого этажа и сметет меня вниз вместе с остальным мусором.

Из-под двери показывается лужа – темное пятно на рыжем линолеуме, и я зажмуриваюсь, сжимаю зубы. Иногда я прихватываю с собой топор и тогда стужу лоб о его холодное лезвие. Так идет время, вода все грохочет и ревет, лужа под дверью растет, иногда я слышу звон и треск вышибаемых стекол. Потом все стихает, как будто ничего и не было. Я выбираюсь из своего угла и бреду к двери. Распахиваю ее – в коридоре сухо. Нет луж на полу, нет выбитых стекол, вообще ничего нет. Холодный коридор, залитый сероватым светом, и сквозняк, который гонит обрывки газет. И тогда я смеюсь.

Но это еще пустяки. После этого еще можно заснуть, хотя сниться будет только вода, но это ничего. Хуже, когда я просыпаюсь оттого, что по коридору кто-то бежит, шаркая ногами. У него хромая, подпрыгивающая походка. Если я слышу его, то обязательно включаю свет и кидаюсь к двери, а в руке у меня топор. Я стою, затаив дыхание, и слушаю. По лицу у меня стекают струйки пота, а сердце стучит где-то в голове, и кажется, что оно сейчас лопнет. А он бежит издалека, все приближаясь. Он подбегает ко всем дверям и стучит в каждую по два раза. Вот так – тук – громко, настойчиво и сильно, а потом, чуть подождав, – тук – уже слабее, устало. Тук-тук, тук-тук. Он не останавливается. Он все бежит и стучит.

Кто это? Худой некто, тонконогий и сутулый, девушка со стеклянными глазами,

оплывшая старуха... А может, все вместе, или никто. Когда оно стучится в мою дверь, я кричу разом охрипшим голосом «Кто там?», а оно молчит. Несколько раз оно смеялось в ответ булькающим смехом. Я должен держаться, ведь если я расслаблюсь хоть на секунду, оно сможет войти. Однажды оно начало дергать ручку снаружи, дверь тряслась и, казалось, вот-вот откроется, а я стоял напротив нее с топором наготове и считал от одного до ста. На шестьдесят восьмом счете дверь перестала дергаться, а шаги отдалились. Я сел на пол, закрыл глаза и сидел так очень долго. Я думал, что умру. Нет.

Несколько раз я набирался смелости и распахивал дверь, когда к ней приближались шаги. В коридоре был серебристый свет, пустота и шорох. Дом жил ночной жизнью. Было холодно, ужасно холодно и страшно. Казалось, что кто-то стоит у меня за спиной и кладет мне руку на плечо. Ледяные, длинные и тонкие пальцы, легче паутины. Мне не хватает воздуха, я задыхаюсь и затравленно оглядываюсь, а темнота обнимает меня, шепчет мне что-то на ухо. «Нет!» – кричу я. Потом шепчу, потому что голос пропадает: «Нет, нет, нет!» – а она не унимается. Потом я просыпаюсь у себя в комнате, в дальнем углу. Дверь распахнута, мои пожитки валяются на полу. Как-то раз я рассказал об этом Собеседнику. Он тогда был в мерзейшем настроении, я тут же пожалел. Потому что он принялся ругаться и поносить меня последними словами.

– Да ты просто идиот, – сказал он в частности. – Стучат, откройте дверь. Ты что, не понимаешь, где ты оказался? Тоже мне, правила вежливости. Тебя жрут с потрохами, а ты ходишь, двери им открываешь. Нет, это же надо – такое удумать.

– А что же мне делать?

– Ну, не знаю. Хотя – это все равно. Делай, не делай, открывай, не открывай, мне-то что. Все равно ты тут умрешь, или тебя умрут. А я нет. Вот и все.

Собеседник умеет приободрить. Помню, как-то раз, очень давно, меня разбудили звуки духового оркестра. Пищали, словно перепуганные старухи, дудки. Бухал барабан. Я почему-то сразу подумал о пожарниках. Я соскочил с кровати, запутался в ворохе тряпья, которым укрывался ночью, и выбежал в коридор. Там всюду полыхала иллюминация – все лампы горели, перемигиваясь мертвенным светом с красноватым оттенком, а вдоль стен висели воздушные шарики. По всему коридору. Странные это были шарики – какого-то грязно-белого цвета и непонятной формы. Они поблескивали в свете ламп. Я подошел поближе к одному из них и понял, что меня сейчас наверняка вырвет. В пустоте его резинового брюха колыхался, перекачиваясь от стенки к стенке, комок слизи. Я прошел вдоль стены, уже не в силах оторваться от мерзкого, но почему-то захватывающего зрелища. Во многих шариках что-то было. Иногда – комки слизи, они были противнее всего, потому что жили собственной жизнью и ползали в мутной прозрачности, стекая по стенкам. В некоторых была пыль – кучки пепла, вроде сигаретного. В одном была бабочка.

Шарик висел в самом конце коридора, на пожарном щите, с которого я снял когда-то топор. Сначала я решил, что это ненастоящая или мертвая бабочка, так безучастно и неподвижно она сидела. Но когда я пошел дальше и напоследок мельком взглянул на нее, она вдруг встрепенулась и забилась о стенки белесого пузыря, оставляя на них бархатистые пыльные разводы. Она билась яростно, упорно и безнадежно. Совсем как я иногда.

На ощупь резиновый пузырь с бабочкой оказался липким, теплым и упругим, но я уже не думал об этом, я хотел помочь бабочке, которая все колотилась внутри, изредка замирая, словно спрашивая меня о чем-то. Сначала я хотел развязать веревочку, но решил, что тогда воздух быстро выйдет, стенки сожмутся, и бабочку сплющит и покалечит. Тогда я решил просто лопнуть этот шарик, и тогда, может быть, бабочка вылетит целой и невредимой. Я с силой хлопнул по нему, надеясь, что не пришиб бабочку. Раздался глухой трескающийся звук, как будто рвут старую тряпку, и в нос мне ударила волна теплого смрада. Я стоял, отплевываясь, у моих ног валялись ошметки осклизлой резины, а чуть подальше – трупик бабочки с черными бархатными крыльями. Было горько.

И тут появился Собеседник. На этот раз он был похож на кондуктора.

– А ведь это – в точности ты. Немного шума, много воню и чуть-чуть прекрасных

устремлений, ныне покойных.

Из глубины воспоминаний меня вывел голос Собеседника.

– Дождь.

– А?

– Дождь. Скоро будет дождь. Сейчас туман, а потом будет дождь.

– Так это хорошо. Эй, послушай, помнишь, ты говорил, что я слишком слаб, чтобы стать одиноким?

– Это же просто. Ты ведь не одинок, пока ты слаб. Чтобы стать одиноким, нужно прогнать все – память, жалость, страх, привычки, желания. И остаться наедине с тем, что не прогонишь, с тем, что и есть ты. Тебе не останется ничего, кроме покоя. А ты трус, и поэтому не можешь расстаться со своим страхом, своими мыслями и так называемыми чувствами, которые сам себе придумываешь и потом мучаешься. Это не самая лучшая компания. А избавиться от них и стать одиноким ты не сможешь, потому что ты ленивый, слабый и тупой.

Странно. Сегодня с ним что-то не то. Давно я не слышал от него такой связной речи.

– Скажи, а может у этой истории быть счастливый конец?

– Какой конец?

– Ну, счастливый. Ты же понимаешь – это когда с утра хочется проснуться, а вечером – заснуть.

– Не думаю, чтобы у этой истории вообще был конец. Просто твоя жизнь – она, как цепь, где звенья последовательно связаны, и одно ведет к другому, ну, с небольшими вариациями. А в самом конце – вроде гири – твое так называемое счастье или несчастье. И поэтому каждый свой поход по коридору ты как-то приравниваешь к этим возможным финалам. Ах, я видел во сне жуткую рожу. Это не к добру. Ах, меня ударило током. Ах, вода течет – все тебя пугает, мучит, всего ты опасаясь. Или наоборот – надеешься. А все потому, что, складываясь в цепочку, оно неминуемо ведет тебя к одному из исходов. Вот ты и бегаешь, как крыса по канализационным трубам, от беды к беде.

– Ну, даже если ты прав, а, может быть, ты прав – то почему мне одни неприятности выпадают?

– Во-первых, ты только их и видишь, а во-вторых, место здесь такое.

– А как можно еще? По-другому?

– Представь себе, что это просто картинки, как будто ты листаешь огромную книгу и раскрываешь ее наугад. Вот на этой картинке под кем-то рушится лестничный пролет, а на той кто-то разговаривает с собственной тенью, и она ему отвечает. Потом тебе кажется, что этот кто-то – ты. Ты просто придумываешь себя в этой книге, и вот уже ты бежишь по коридору, а он обрушивается за тобой. Еще на одной картинке ты погибнешь тысячей способов. Но это не важно, и не стоит огорчаться, потому что еще на одной картинке ты жив и как будто счастлив. То есть это тебе на картинке кажется, что ты счастлив. Открывай любую картинку, какая попадется. В принципе они связаны только общим героем и местом действия. Во всем остальном они случайны.

– А есть картинка, где я выхожу из Дома? Где мне удастся вспомнить, кто я?

– Самая важная штука здесь в том, что картинки возникают, только когда ты на них смотришь или думаешь о том, что должен увидеть. До этого их просто нет. А как ты можешь представить себе, что выходишь из Дома, если ты никогда не бывал снаружи? Ты ведь даже предположить не можешь, что там. А значит, нет и картинки. Все, что происходит в Доме – это комбинация, пусть даже очень сложная и причудливая, из его частей – из твоей единственной реальности. Ведь их-то ты уже видел – правда, не в таких сочетаниях.

Я хотел было рассказать ему про свою единственную правду, но осекся. В Доме опасно говорить про такие вещи вслух. Тут меня осенило:

– Но ведь картинки возникают только тогда, когда я на них смотрю, значит, без меня Дома не будет. Значит, стоит мне убежать от него, захлопнуть книжку, как его разум просто перестанет существовать. Он станет закрытой книжкой, которую никто не читает.

Я разволновался и снова свесился с кровати, чтобы посмотреть на Собеседника. Он растолстел и поседел еще больше. Он сцепил руки на подушкообразном брюхе и шевелил пальцами, отбивая какой-то замысловатый мотивчик.

– Не смотри на меня! – снова пронзительно завизжал он и ударил меня по уху. Я быстро поднялся.

– А, извини.

– Такого тупого, как ты, больше нет, говорил ведь, всегда говорил.

– Да я тут вообще один, тебе сравнивать не с кем.

– Ну, это как сказать. – Собеседник замялся. – Еще есть я. Почти. Иногда.

– Да, так как насчет того, что Дом без меня не может существовать? Ведь если судить по-твоему, то я ему просто необходим. Я его – проявляю, что ли.

– Косно мыслишь и невнимательно слушаешь. Все лепишь свою логику, вопросы неправильные задаешь. Ты ведь сам себя придумал на картинке, где есть Дом, так куда ты, спрашивается, оттуда убежишь? А даже если убежишь, то что тогда станет с твоим разлюбезным сознанием? Что от него останется тебе? Дело не в том, может ли Дом существовать без тебя, а в том, можешь ли ты существовать вне Дома.

– Значит, меня просто нет? А кто же тогда смотрит на эти картинки? Кто же тогда их представляет?

– Дурак ты, все-таки. И к словам цепляешься.

Собеседник почему-то оказался перед окном. В пепельном ночном свете он был худ, высок и полупрозрачен. Лица его я разглядеть не смог. Потом он шагнул к стене, преодолев за один шаг полкомнаты, и исчез. А меня потянуло в сон. Я нашарил на стене выключатель, зажег свет, тусклую желтоватую лампочку, которая мигала и тихонько жужжала, неназойливо, как сумасшедший письмоводитель. Кажется, потом мне снились кошмары. Я не помню.

ЗДАНИЕ

Часть вторая

Блики

**Окно, темно,
И тысяча лет
Одиночества вдоволь
В заколоченном Доме,
там, где нас нет.**

Зимовье Зверей.

Сегодня ветер клубит пыль там, снаружи. Тумана нет, он подевался куда-то еще со вчерашнего дня, небо стало грязно-белого цвета, а ветер клубит пыль. Ему, наверное, надоело гонять газеты по коридорам, и он вылетел туда, за оконные стекла. Пыль поднимается в воздух огромными колоннами и кружится волчком на одном месте, потом вдруг застывает на секунду и разом падает вниз, словно отяжелев. Проходит время, и рыжеватый пыльный столб снова вырастает из ниоткуда, и все повторяется. Я такое вижу впервые. А может, это уже было, просто я не помню. Я так часто принимала здесь за действительность то, что оказывалось потом обрывками снов, мыслей и отражений. Это блики. Я все время на грани какого-то глобального знания, но меня не пускают к нему. А я так устала.

Из окна моей комнаты виден кусок двора, угол другого корпуса, стена и ворота. Если

прижаться лицом к оконному стеклу, сплющив нос, можно разглядеть еще два небольших корпуса с узкими проемами-бойницами, груды кирпичей прямо под моим окном, разбросанные по двору листы то ли жести, то ли ржавого железа, крышку канализационного люка, выглядывающую из-под кучи щебня, искореженные пики арматуры, сплетенные в какие-то замысловатые клубки. Пыль. Мусор. И все.

Я никогда не была там, снаружи. В том прошлом, которое придумало мне Здание, я ни разу не выходила во двор. Я знаю только свою комнату, коридоры, двери, лестницы... И так было, наверное, всегда. Если бы выяснить, на каком хоть этаже я нахожусь, было бы, наверное, гораздо легче мечтать о выходе. Но мне не дано даже этого.

Вспомнить страшно, сколько сил я потратила на эти гулкие лестничные пролеты, пытаюсь добраться хотя бы до второго этажа. Да ладно, пусть до третьего. Оттуда, в конце концов, было бы не так уж страшно прыгнуть. Или упасть, если Здание так не любит инициативу. Я даже откопала в куче тряпья в одной из комнат довольно сносную веревку, не очень длинную, правда, ее хватило бы как раз на два этажа. В принципе, меня устроил бы даже четвертый – ведь не так уж страшно пролететь метров шесть от конца веревки до земли. Я была готова даже разбить окно, хотя знала, что этого делать категорически нельзя, просто недопустимо. Мне уже было все равно, лишь бы выйти.

Здание мастерски сужает желания. В мутном, неясном и почти несуществующем «раньше» я мечтала, нет, я верила, что выйду отсюда совсем, полностью, оставлю за спиной ворота и стену с колючей проволокой, растворюсь, потеряюсь в не известном мне «там», и, хотя ничто не поддерживало во мне этой уверенности, я чувствовала, что оно на самом деле есть, должно быть, обязано... «Там» – обязательно все будет хорошо.

Обязательно!

Здание мастерски сужает все. В совершенно определенном «теперь» я уже сомневаюсь, есть ли там что-нибудь, за стеной. Кто знает, быть может, там заканчивается мир. Оттуда, из-за стены, не приходит ничего хорошего, только туман, промозглая сырость и ночные страхи. «Теперь» – неумолимое пятно, заключенное в белую оконную раму, картинка на заказ – клочок пыльного двора и ворота, как насмешка. И даже про это я не знаю, есть ли оно на самом деле, или только кажется, а в действительности Здание сузило меня до комнат и коридоров. Поэтому я так отчаянно хочу выбраться хотя бы туда, во двор, побродить босиком по пыльной, будто каменной, земле, погладить ржавчину арматур, почувствовать спиной стену, дотронуться до ворот. Какие они на ощупь? Кто знает, может, если прижать к ним ладони, прислонить лоб, зажмуриться, вдохнуть и легонько-легонько подтолкнуть, кто знает, что будет тогда, может они, кто знает, может...

Ах, черт. Черт.

Вот так. Вот так я привожу себя в состояние лихорадочного нетерпения, какой-то деятельной истерии, и начинается бесконечная беготня вверх-вниз, и двери, двери, двери, все запертые, и лестницы, и холодные перила, извилистые коридоры, комнаты, сотни комнат, и снова лестницы, и все сначала, по кругу, по кругу, по кругу, опять и опять, чертово колесо, пока силы не уходят сквозь кончики пальцев куда-то вниз, в подвал, и только остается, что баюкать опустошенное сердце, обняв себя руками.

И разве я не пыталась найти выход?

Господи, я помню, конечно, я помню эти идиотские игры в кошки-мышки не известно, с кем, когда я моталась по коридорам, потихоньку сходила с ума и становилась похожа на Здание, а оно резвилось во всю. Мне нужен был четвертый этаж, я ловила четвертый этаж. Смешно? Очень. Зданию, во всяком случае, было невероятно весело. Конечно, это очень забавно, когда кто-то внутри тебя пытается в тебе и от тебя спрятаться. Славные игры!

Я помню, как это было – угол коридора остер, как лезвие ножа. Надо проникнуть за него взглядом и не порезаться. Ах, как забавно! Как будто играешь в прятки – очень хочется глупо хихикнуть. Но нельзя. Иначе оно услышит. Никогда ведь не знаешь наверняка, следит оно за тобой или нет. Осторожно, очень осторожно выглянуть в коридор – так, вон окно во двор, кажется, разбитое. Теперь тихо. Две секунды, три, вдох, приготовились – вперед!

Одним рывком преодолеть четыре метра до окна и считать – быстро-быстро, как только могу – считать этажи подо мной: раз, два, три, четыре, пять, шесть... Ну, слава богу, это седьмой этаж, Здание его никуда не спрятало, не убрало.

Теперь мерным шагом с беззаботным видом (можно даже напевать что-нибудь, я так, просто здесь иду, без всякой цели) на лестницу, спуститься на два пролета вниз, к следующему этажу – и все сначала. Господи, все сначала, с замирающим сердцем смотреть, не украли ли Здание шестой этаж, а потом пятый, а спустившись на четвертый, оказываешься в подвале, среди плесени, каких-то труб, среди банок с консервами и груд поломанной мебели.

Тогда просыпается надежда: если это подвал, значит, следующий этаж должен быть первым. Я откуда-то знаю, что обычно там находятся входные двери. Я не уверена, но, по-моему, это логично.

Но из подвала на лестницу ведет только одна дверь, а лестница оказывается такой узкой, и уходит в бесконечность, она словно заперта в тесной каменной башне, и нигде нет выхода на этаж, а еще – невероятно темно, потому что в этой башне нет окон.

Миновав пятнадцатый или шестнадцатый пролет, понимаешь, что тебя замуровали, ведь даже щелей нет в стенах, ни одной щели, просто узкая бесконечная башня и лестница, и воздуха становится так мало, и душно, страшно...

Ступенька за ступенькой – все меньше сил, где я, господи, где я, какой это этаж, я не знаю, не знаю, выпусти меня отсюда! Тогда стены начинают сжиматься, сжиматься, сплющивать, сдавливать, сминать в лепешку. Сначала от одной стены до другой три шага, потом два, потом шаг, потом уже и руки вытянуть на всю длину нельзя, а они все движутся навстречу друг другу, как будто меня нет внутри, как будто я не бьюсь в темноте и не шарю по холодной извеске, пытаюсь найти дверь. Еще две минуты, и они раздавят меня, как бабочку, захрустят и сломаются кости, лопнет грудная клетка, кровь пойдет горлом. Нет, пожалуйста, я ничего уже не хочу, ничего, ничего, только выбраться из этой кошмарной мышеловки, только выбраться, и ничего больше...

Тогда Здание любезно распахивает дверь. Сил нет больше ни на что, устало бреду по коридору и через несколько минут понимаю, что это мой этаж, и вот моя комната, и мое окно, а под ним – больше десятка этажей, которые я никогда не смогу пересчитать. Добро пожаловать домой, девочка. Игра окончена. Сиди и смотри на пыльные столбы, которые взмывает во дворе ветер. Тебе позволено только это.

Пыльные столбы... Хорошо ветру. Хорошо пыли. Как бы я стала пылинкой, кружить, кружить, не думая ни о чем...

Я тебя ненавижу. Боже мой, как же я тебя ненавижу. Кажется, это единственное, во что я могу верить безоговорочно. Этот мусор, эта пыль во дворе – почему даже это не для меня? Для кого тогда?

Здание не выпустит меня наружу. Никогда. Даже во двор.

Однажды, спускаясь с шестого этажа на пятый, я вдруг решила, что рискну, веревки хватит на два или три этажа, падать не очень высоко. Может быть, я даже ничего не сломаю. Господи, да если даже и сломаю – не все ли мне равно? Ниже Здание мне спуститься не позволит. Значит, решено. В конце концов, я просто устала. Ну, хоть что-нибудь.

Я спустилась на пятый этаж. Там было сумеречно, на потолке еле-еле светились длинные белые лампы, да и те гасли одна за другой. Темнота заполнила коридор за считанные секунды, но я успела разглядеть, почему так. На этаже не было окон. Ни одного окна, как на той лестнице в башне. Просто ровная стена, оштукатуренная и покрашенная мерзкой голубой краской. В темноте я нащупала дверь в комнату и открыла ее. Там должно быть окно – в комнатах обязательно должны быть окна...

Касаясь стены рукой, я пошла туда, где, по идее, есть окно. В голову лезли чужие нехорошие мысли. Стандартный набор: что-то про жаркое дыхание голода, про желтые глаза с вертикальными зрачками, холодные пальцы, грязные лапы, про кого-то, кто во тьме стоит рядом, дышит в затылок и жаждет твоего страха. Главное – найти окно. Я так и твердила

себе, стараясь не думать о тех, кто живет в темноте, так и твердила: окно, надо найти окно, надо найти окно, окно, окно...

Вдруг рука наткнулась на что-то теплое и мягкое, что завертелось и заерзало, но почему-то не убежало.

Я ни разу не видела в Здании крыс. Мне почему-то очень захотелось, чтобы это была просто крыса, чтобы она шмыгнула с противным писком куда-то в сторону и прекратила, прекратила, ПРЕКРАТИЛА булькать и хихикать, хватать мою руку маленькими цепкими лапками, облизывать мою ладонь, кусать мои пальцы и чмокать... Господи, оно же поднимается...

Я закричала, затрясла рукой, что-то шлепнулось на пол, зашуршало, завозилося, тут же чьи-то пальцы холодом коснулись моей щеки, кто-то жарко задышал в затылок, кто-то за спиной, кто-то рядом, кто-то, жаждущий моего страха. Я металась в темноте, не соображая уже ничего, пытаюсь найти дверь в коридор, кричала, словно меня резали, натыкалась в темноте на что-то, что казалось живым и голодным, снова кричала. Здание вдосталь поиздевалось тогда надо мной. Не помню уж, как я оказалась в коридоре, а потом на лестнице, но только на пятый этаж я не спускалась еще как минимум неделю. Вот так. Вот так. Конечно, проще всего было бы спрыгнуть вниз из окна шестнадцатого этажа. Но это когда-нибудь потом, когда я совсем устану. А сейчас... Еще очень хочется жить.

Я перестала искать первый этаж.

Я перестала оставлять метки на стенах – это очень неприятно, когда каждая борозда, проведенная гвоздем по штукатурке, становится глубоким порезом на плече. Веди летопись, девочка, пожалуйста. Но не забывай, кто здесь хозяин.

Я перестала чертить планы этажей. Что толку, если каждый день комнаты меняются местами, а коридоры изгибаются по-новому. Что толку, если все мои писания угольком на газетных листах к утру покрываются липкими мазутными пятнами и нестерпимо воняют. Что толку – ЕСЛИ Я ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ, НА КАКОМ ЭТАЖЕ Я НАХОЖУСЬ, ЧТО ТОЛКУ!?!

Я перестала исследовать лестницы. Они имеют привычку рушиться под ногами. Или утыкаться в тупик. Или становиться каменной башней без окон. Это чаще всего.

Я перестала открывать двери.

Раньше я открывала двери. Одну за другой, с упорством шизофреника, распахивала, заходила в комнату, осматривалась, выходила обратно. Если дверь была заперта, я ее выламывала. На это уходило немало времени, но зато мне не в чем было себя упрекнуть. Я верила. Я верила, что открою одну из них, может, самую неприметную и неказистую, открою, а за ней окажется выход. Глупо, да? Я в это верила. А теперь не верю. Потому что однажды открыла дверь, самую неприметную и неказистую, а за ней... Это до сих пор иногда снится мне по ночам. Отсюда нет выхода.

Нет выхода. Тогда зачем эти огромные наглухо запертые ворота, возле которых ветер взметает свои пыльные колонны? Зачем они тогда, если я не могу выйти даже из корпуса? Кого еще должны удерживать эти створки, кого? Ведь в Здании, кроме меня, никого нет... Я здесь одна, в этом лабиринте коридоров, некому бродить по двору и касаться шершавой поверхности стен. Я здесь одна.

Один раз, один только раз я засомневалась в этой непреложной истине. Мне было так страшно и беспомощно, это были ключевые слова моего существования – страх и беспомощность. Впрочем, почему «были»?

Я сильно задержалась в подвале, набирала еду на несколько дней. Внизу мне ужасно не нравилось, я старалась бывать там как можно реже и, соответственно, провизией запасалась на максимально долгий срок.

Еда в Здании – не ахти, какая, но все-таки есть можно. Первое время мне было очень любопытно, откуда она берется в подвале, ведь я все время забираю оттуда довольно солидную грудку консервов, а их как будто меньше не становится. Кто приносит в эту хитро запрятанную кладовку банки с тушенкой, сгущенное молоко и сухари? Однажды я даже

осталась ночевать в подвале, но долго потом об этом жалела. Сама не знаю, как заснула, даже кошмары не мучили, но только утром полки были идеально чисты, а я на неделю осталась без провизии. Я так ошалела от этой банальной мести, что больше не позволяла себе даже краем сознания задуматься, что и откуда берется. Честное слово, недельная голодовка действует лучше кошмаров. Да.

Но тогда я просто запасалась едой. Еле дотащив наверх целую кучу каких-то консервов и пакетов с сухарями, я пнула дверь ногой, вошла в комнату и свалила провизию на стол. Получилась солидная груда. Темнело, как обычно, очень быстро, я закрыла дверь, зажгла свет и села на диван. Было как-то особенно беспокойно. Вообще, вечера в Здании – вещь не из приятных, но тогда тревога приняла какой-то новый оттенок. А впрочем, что это я. Все здесь всегда одинаково.

Тумана не было, но подходить к окну почему-то не хотелось. Казалось, что кто-то наблюдает за моей комнатой, смотрит пристально, только и ждет, чтобы я пошевелилась, подала признаки жизни. Глупо. Ну не буду же я так сидеть до утра. Я вздохнула, поднялась с дивана и занялась едой. Развела малюсенький костерок посреди комнаты на двух больших кирпичах, нагрела себе немного воды. Заварка кончилась уже два дня как, поэтому чая, пусть горького и некрепкого, но все-таки чая, не предвиделось. Консервы оказались старые и несъедобные. Пришлось жевать сухари. Может, завтра что-нибудь изменится, а может, нет. Ведь это – моя комната. В ней никогда ничего не происходит.

Я задумчиво потягивала остывающую воду из жестяной банки, когда со Зданием что-то произошло. Что-то, чего, кажется, оно само не ожидало и боялось. Сначала дрогнули стены, потом звякнуло-дзынькнуло оконное стекло, мелко завибрировал пол под ногами. А потом вдруг все затихло. Абсолютно все. Не шуршали газеты в коридоре, не тек кран в душевой, не скрипели двери соседних комнат. И среди этой неожиданной тишины вдруг – топот бегущих ног в конце коридора, топот, приближающийся к моей комнате. И кто-то внутри, возле меня, тонко заныл, что этот топот не пронесется мимо, не исчезнет на лестнице, эти шаги остановятся именно возле моей двери, а может, распахнут ее беспощадным пинком, ворвутся в мою комнату, собьют меня с ног, и я снова буду метаться по углам, уворачиваясь от невидимых кулаков, только на этот раз не отделаюсь разбитым лицом, потому что сегодня он пришел сам, наверное, я надоела Зданию, и вот...

Я вскочила на ноги и бросилась зачем-то к окну, потом к двери, потом снова к окну. Я не знала, что делать, ожидание сменялось страхом, страх – ожиданием, а шаги все приближались. Я бестолково металась от стены к стене, а потом страх победил, и я забилась в угол между столом и окном, сжалась в комок и твердила про себя: «Нет, не может быть. Не может быть, нет, я здесь одна. Здесь никого, кроме меня, нет, никого нет, никого, никого! Этого не может быть, не может, я одна, Господи, я здесь совсем одна, совсем, здесь никого, кроме меня, нет, никого нет, никого нет, нет, нет, нет! Здесь никого больше нет! Никого больше нет! Нет!!! Нет...»

Дверь с грохотом распахнулась, ударилась несколько раз о стену и закачалась. Мне послышалось даже, кажется, чье-то хриплое дыхание, но я закрыла уши руками и замотала головой. За дверью никого не было. Нет, нет и нет. Никакого дыхания. Нет и быть не может. За дверью никого нет. Пустой коридор да обрывок газеты, и больше ничего. Я таращилась в пустоту коридора, дрожала, все ждала чего-то и не могла понять, почему так тоскливо. Потом напряжение как-то разом спало, я вылезла из своего угла, закрыла дверь...

Я не знаю, что произошло, но меня как будто окатило ледяной водой – рывком выметнулась в коридор: «Где ты?! Слушай, я здесь! Подожди! Не уходи, постой – я здесь! Слышишь, я здесь! Вернись!» Какой длинный коридор, ведь не мог он исчезнуть вот так, в никуда, я его знаю, я помню его руки, не знаю, откуда, не знаю, кто он, но ведь здесь был кто-то, кто-то бежал по коридору, кто-то спешил ко мне, неужели он ушел – вот так, просто?! Это было бы слишком жестоко, это было бы слишком подло, нет – этого не будет, я не позволю!

Я бежала по коридору, прочь от своей комнаты, прочь от света и безнадежности. Как

же так – ведь еще чуть-чуть, и все было бы по-другому, все было бы иначе, и это я, это я виновата. Но он услышит, если только он есть, он услышит. Я бежала и звала его, кричала до хрипоты. Здание развлекалось, оно зажигало свет в комнатах, а я бежала на свет, как сумасшедшая бескрылая бабочка, распахивала дверь и кричала в пустоту: «Я здесь!» Потом мне слышались шаги на лестнице, и я бежала туда и звала, перегнувшись через перила, а в ответ мне хохотало эхо.

Господи, сколько сил, оказывается, кроется в одной маленькой глупой детской надежде. Сколько отчаянной решимости выпило из меня Здание в ту ночь. Потом ему надоело, и следующая комната, которая поманила меня полоской света из-под двери, оказалась моей, насмешливо мигала лампочка под потолком, виновато покосился стол, чернели кирпичи на грязном полу. Все. Я все поняла. С некоторых пор в Здании мне не надо объяснять дважды. Я закрыла за собой дверь и вдруг засмеялась. Надо же, вот умора, напугали девочку букой, невидимкой в тяжелых ботинках, суки, сволота ночная! А я-то, идиотка, Господи, вот идиотка – «нет, не может быть, здесь никого больше нет...» Дура! Надо же было такую дуру из себя разыграть – «там никого нет»! Конечно, там никого нет! И здесь никого нет! И вообще никого нет, кроме тебя и Здания! Кого ты обманываешь?! «Никого нет»! Идиотка!

Я смеялась долго, очень долго, добротню так смеялась. А потом заплакала. Там никого не было. А мне, оказывается, так хотелось, чтобы был! Так хотелось, чтобы был...

С тех пор я уже не сомневаюсь. И даже если эти пыльные столбы слепятся во что-нибудь, похожее на меня, я все равно не поверю. Я здесь одна. А это – просто пыль. Просто пыль, пляшущая у запертых ворот. Не известно, для чего.

Иногда мне снится странный сон. Он выделяется из череды кошмаров и тоскливых тягучих видений. Он не страшный и не беспросветный. Он деятельный. Я не знаю, что это – кусочек моего прошлого или часть будущего, но я чувствую, что это точно – мое. Было или будет – не имеет значения. Главное, оно принадлежит мне. Оно меня поддерживает.

Мне снятся ворота. Только не издали, из окна, а очень близко, словно я подошла к ним вплотную, так, как столько раз мечтала. Но во сне я не прижимаю к ним лоб и ладони. Во сне они бьются в конвульсиях под моими ударами, кажется, бессмысленными, безрезультатными, но я продолжаю бороться, бить, колотить по створкам всей силой своей ненависти, всем своим страхом, каждой мыслью, и они дрожат, грохочут под моими кулаками, а кругом – пыль, и ветер взмывает пряди моих волос, по виску стекает струйка пота, силы уходят, а створки вдруг начинают, как будто сейчас не выдержат, как будто...

И я просыпаюсь. Всегда в одном и том же месте, на этом отчаянном «как будто», я просыпаюсь, рывком сажусь на диване, утираю струйку пота, пытаюсь успокоить бухающее сердце. Когда мне это удастся, я задумываюсь. Быть может, я видела прошлое. А может, будущее. Пыль, ветер... Кто знает?

* * *

Помню, однажды я заболела. С утра проснулась от звука капель, а внутри было как-то вяло и безнадежно. Казалось, что-то холодное затаилось во мне и ждет – не дожидется своего часа. За окном туман влип в небо, и я слышала, как в коридорах ветер носит старые газеты. В комнате было холоднее, чем обычно, или мне только казалось это, не знаю. Я села, подобрав ноги, прислонилась к стене и зябко повела плечами. Мой старенький плед, обычно такой мягкий и теплый, оказался вдруг тонким и каким-то обветшалым, словно постарел за эту ночь на тысячу лет.

А капли падали. С каким-то гулким звуком, как будто в медный таз с водой – бульк, бульк, бульк – очень медленно, очень близко от меня. Я попыталась укутаться в плед и хоть немного согреться. Ничего не получилось. В Здании огромное количество всякого тряпья, старые ватники, фартуки, детские ползунки, рваные простыни с желтыми разводами,

подтяжки, цветастые юбки. Пожалуй, из всего этого можно было бы выбрать что-нибудь, чтобы согреться в холодные дни, но я не могла себя заставить. Одна мысль о том, что я завернусь в какой-нибудь старый полушалок, пахнущий плесенью и бензином, приводила меня в ужас, который сродни отвращению. Мне почему-то казалось, что тогда я сразу стану частью Здания, его собственностью с правом аренды и продажи. Наверное, когда-нибудь я сломаюсь и решу, что уж лучше в тепле и принадлежности, чем так, когда зуб на зуб не попадает. Все может быть. Надеюсь, это случится нескоро. А пока я мерзну. Вот и тогда тоже.

Все вокруг было как-то зыбко и странно, словно воздух стал прозрачной ватой. Ни одного звука не долетало, даже шуршание газет раздавалось где-то очень далеко и тихо. Время огибало мой диванчик двумя медленными потоками, а я находилась вне времени, и только капли падали вниз, рождая неожиданное эхо. Плотная тишина глотала звуки и не могла насытиться. Я слушала свое сердце. Тук-тук, тук-тук, тук-тук, тук-тук...

Как капли, тоже очень медленно. Кажется, они даже вошли в один ритм, какой-то равнодушный, ленивый танец. Тук-тук... бульк... тук-тук... бульк... Тишина заполняла мою комнату, как аквариум, а капли падали где-то очень близко, невероятно рядом, над самым моим ухом. Где-то глубоко внутри меня тихонько шевельнулась тревога: где? В моей комнате никогда ничего не происходит, просто не должно ничего происходить, потому что это МОЯ комната. Как трудно, оказывается, повернуть голову. Глаза болят. Пусто. Слева от меня – окно, справа – дверь, напротив – хромой стол и стена. Пусто. А капли падают. Бульк...тук-тук... бульк... тук-тук... бульк... Что-то изменилось. Тревога подняла лохматую голову и заворочалась. Бульк. Бульк. Бульк. Неуловимо быстрее. И сердце. И капли. И еще раз сердце. Они связаны, оказывается, и капли тянут за собой сердце, убыстряя темп. Бульк, бульк, бульк... Я покрылась холодным потом и задрожала, кутаясь в плед. Как холодно, сердце, как холодно... Ну, не бейся ты так!

Бульк, бульк, бульк... Я не хочу зависеть от этих капель, которых даже не вижу, я не хочу слышать это тоскливое бульканье, не хочу дышать ватным воздухом. Уймись, сердце! Бульк, бульк, бульк, бульк... Хватит! Я зажимаю уши и мотаю головой, пытаюсь разорвать нить, связывающую меня и капли. Но они падают так близко, почти во мне, почти под сердцем, и все быстрее, быстрее, быстрее... Бульк, бульк, бульк... И сердце колотится, как после очень долгого бега, лихорадочно и безнадежно, а капли смеются и спешат, спешат, тянут за собой сердце, быстрее, быстрее, быстрее... Хватит! Бульк-бульк-бульк-бульк... Мне не хватает воздуха, сердце бухает в ребра, словно ему там тесно, кидается то вниз, то к горлу и рвется наружу. Бульк-бульк-бульк-бульк-бульк... Воздух обжигает легкие, какой-то сухой, неправильный воздух, да что же это такое, Господи... Бульк-бульк-бульк... Я не выдержу этого, еще секунда, и меня разорвет изнутри, и сердце уже разбилось в кровь, куда же ты, стой!... Бульк-бульк-бульк-бульк! Ни секунды перерыва, да как же это, я ведь умру сейчас, я руками зажимаю горло, чтобы сердце не выскочило, я хриплю, задыхаюсь, какие-то красные пятна, хватит, хватит, не на-до! Бульк-бульк-бульк-бульк! Да что же ты, сердце, что же ты, сердце, что же ты, что же ты, что-же-ты, что-же-ты, что-же-ты-что-же-ты-что-же-ты!!! Булькбулькбулькбулькбульк!!!!!!

НЕТ!!!!

Тук... тук... тук... тук.

Тишина.

Холодно.

Ветер.

Ветер шуршит старыми газетами в коридоре.

Ветер хлопает незапертыми дверьми.

Я плачу.

В тот момент я даже не испытывала ненависти к Зданию, только какое-то тоскливое недоумение: за что? Голова кружилась, в ушах звенело. Как все-таки холодно сегодня. Я спрятала заледеневшие руки под плед, потом прижала ладонь ко лбу – словно к доменной

печи, чуть не обожглась. Нет, – сказала я себе – нет, этого нельзя допустить, я не могу, не имею права болеть Здесь. Нужно было что-то делать, как-то бороться. По спине гулял озноб, болели суставы. Да что же это такое, в конце концов, неужели ему мало того, что я исходила сотни километров по нескончаемым коридорам, неужели надо совсем меня уморить, чтобы все было хорошо?...

Тишина, густая тишина. Я знала, что нельзя сидеть на одном месте, но не могла заставить себя подняться. Надо было встать, спуститься в подвал, набрать еды, надо было собрать щепок и газет, найти спички, которые каждый день оказывались на новом месте; еще надо было отыскать аптечку, которую я заприметила недавно на одном из этажей – вот только на каком? Конечно, рискованное это дело – принимать микстуры Здания, но мне слишком плохо, чтобы привередничать. Только бы встать. Здание не пожалеет меня, оно воспользуется моей слабостью и сотворит что-нибудь такое, о чем лучше не думать. Встать – мне обязательно нужно встать.

Я пришла в себя от громкого, бьющего по нервам скрипа, повернула голову и попыталась испугаться. Не получилось. Дверь в мою комнату открылась и качалась, поскрипывая, под напором сквозняка. Я долго пыталась понять, что меня так тревожит в этой открытой двери – ну, сквозняк, ну, подумаешь...

А потом поняла, и что-то тоскливо оборвалось внутри. Она не может открыться. Она не имеет права открыться и скрипеть. Я смазывала вчера петли, а вечером, перед сном, закрыла дверь на задвижку. А теперь – ни задвижки, ни даже следа от нее не было, и петли скрипели пронзительно, въедливо. Я ко всему уже привыкла, но ЭТО БЫЛА МОЯ КОМНАТА. В ней не может ничего происходить. Это единственное место в Здании, где я хоть чуть-чуть – дома. Если мне уже выделили именно ее, так оставьте же меня в покое хотя бы здесь, в этой моей конуре! А за сегодняшнее утро это второе вторжение на мою территорию. Да как ты смеешь, ты, жалкое запутанное отродье, как ты смеешь отнимать у меня последний клочок свободы, мой тихий чистый угол, в котором Ничего Никогда Не происходит!

Я пыталась разбудить в себе злость, найти силы подняться. Мысль о том, что Здание пользуется моей слабостью, действовала, как пощечина. Я обернулась пледом и сползла с дивана. Коленки дрожали. Пошатываясь, шагнула к двери и показала ей из-под пледа кулак. Дверь со стуком распахнулась, и порыв ветра швырнул мне в лицо обрывок газеты. От неожиданности я оступилась, уронила плед, с размаху села на диван. На пожелтевшем газетном листе кривлялся крупный жирный заголовок: **КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ГОРОДЕ УМИРАЕТ ОТ ХОЛЕРЫ 250 ЧЕЛОВЕК.** Я скомкала лист и вышвырнула его в коридор. Ветер радостно подхватил и покатила бумажный мячик куда-то вглубь. Издевается. Можно подумать, кто-то удивился. Можно подумать, кто-то сомневался, что как только я дам слабину, меня ткнут носом в какое-нибудь дерьмо. Одного только понять не могу: что так слабо? Что случилось? Нашему величеству не хватает фантазии? Думаешь, дождалось? Нет уж, не выйдет.

Я поднялась на ноги, держась за стену, добралась до двери. По коридору гулял ветер. Холодно. До чего же холодно... Голову сжал болевой обруч, в глазах потемнело. Вцепилась в дверной косяк, переждала. Я научилась здесь пережидать. Я многому научилась.

Нужно было вспомнить, в какой стороне находилась аптечка. Я подумала немного и пошла направо. Ветер усилился, и старые газеты затеяли какой-то чинный старинный танец. Вот еще одна полетела прямо на меня и уткнулась в шею. **ЭПИДЕМИЯ ДИФТЕРИИ ЗАХВАТИЛА РАЙОН** – гласил заголовок. Я вздрогнула и отбросила от себя газету. Смейся, смейся, посмотрим еще. Сегодня театра не будет. Никаких криков, истерик, слез – обойдешься. Хватит.

А Здание разошлось не на шутку, оно швыряло в меня объявлениями и газетными шапками, предупредывая и насмехаясь. **ЧУМА ВЕРНУЛАСЬ В ГОРОД! ОТ ПНЕВМОНИИ УМЕРЛО 27 ЧЕЛОВЕК! ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ОТКРЫТОЙ ФОРМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА! РАК НЕИЗЛЕЧИМ!** – кричали наглые черные буквы и улетали вдоль по коридору скомканными в шарики или разорванными на клочки. Здание веселилось.

Злость и отчаянное желание не сломаться и не заплакать усиливались вместе с головной болью и ознобом. Единственной надежной опорой оставалась стена коридора, ноги подкашивались, иногда накатывала черная волна обморока, и тогда я цеплялась за стену, пытаюсь не упасть. Что-то случилось с моим слухом, и мне казалось, что я иду внутри своего хриплого дыхания, а вокруг меня настраивается стотысячный скрипичный оркестр, и какофония скрипок тянется уныло за моими шагами.

Коридор заметно качало, иногда его очертания мутнели и расплывались. Кажется, я слишком много переживаю. Все мои беды именно от этого, все меня беспокоит, тревожит – конечно, при таком отношении к миру Здание просто обожралось моим страхом. А ведь насколько все могло быть проще – вот я заболела, и меня волнует только одна мысль: как бы не окочуриться прямо здесь, в коридоре. Надо было так с самого начала, думать только о том, как найти еду и не замерзнуть ночью. Шаги в коридоре? Нет, показалось. Да что ж его так качает, черт, не дойду... Нет, я не дамся. Не обращать внимания? Давай честно – смогла бы? Я – нет. Оно – да.

Я шла до лестницы целую вечность. Чуть не сломала шею, спускаясь на следующий этаж, где, по моим расчетам, должна была находиться аптечка. Не имело уже никакого значения, что со мной потом будет: главное – убрать эту дикую головную боль, от которой хочется тоненько и жалко завывать.

Аптечка и правда была на этом этаже, только на другом конце коридора. Почему я решила, что нужно идти направо? Только силы потратила зря. А теперь придется брести через весь этот длиннющий, просто какой-то неизмеримый коридор, чтобы добраться до дурацкого белого ящичка с микроскопическим красным крестиком и стеклянной дверцей. Не иначе – это растреклятые карлики его утащили. Стоп! Какие карлики? Бред. Откуда вдруг карлики... И слово-то какое-то не мое...

Я шла к аптечке, наверное, три года, а когда дошла, стена была пуста. Я не уловила момента, когда аптечка исчезла. Просто стена была пуста, разве что обои казались немного светлее. Я прислонилась к стене спиной. Ветер принес и швырнул мне в руки очередной газетный лист. **ЭПИДЕМИЯ ТИФА НЕОСТАНОВИМА!** «Уймись, – попросила я. – Уймись, оставь меня в покое. А если я тебе надоела, выпусти меня отсюда». Где-то в глубине коридора зашумела вода – громко, вызывающе. «Отстань, – сказала я. – Мне наплевать на тебя. Мне все равно. Просто отстань». На лестнице запахло паленым и повалил густой едкий дым. «Ну и что? – прошептала я. – Ну и что же? Мне все равно. Я останусь здесь, у этой стены, и умру. Что ты тогда будешь делать? Мне плохо, я устала от твоих штучек. И я тебя ненавижу. Поэтому я умру просто на зло тебе. Я умру, и мне сразу станет легче».

Я сползла на пол и закрыла глаза. Здание швыряло в меня газетами, шумело водой, едко пахло дымом, с потолка падала штукатурка и рассыпалась у моих ног белой пылью. Здание тормозило меня, обдавая то жаром, то холодом, било в лицо порывами ветра, будила хлопающими дверями. Кажется, впервые Здание не знало, что ему делать. Мне было плохо, но как-то очень спокойно. Грустно, что я умираю одна. Я так и не нашла никого, кто мог бы понять и поверить мне. Его здесь просто нет. А ведь наверняка был, просто он не выдержал и бросил Здание, и я пришла на смену. Так вот оно что... Интересно, каким он был?

Я открыла глаза и увидела кафельную стену в двух шагах от себя. Я точно знала, что этого не может быть – передо мной бесконечный по длине коридор и больше ничего. Но стена была, хоть и какая-то не такая, какая-то нереальная, словно существующая не здесь. Я повернула голову, чтобы осмотреться, но стена осталась на месте, как будто я и не думала шевелиться. Было пока не страшно, но очень неудобно. Я помотала головой, закрыла лицо руками, несколько раз моргнула, потерла глаза... Кафельная стена не исчезала ни на секунду, оставаясь незыблемой и равнодушной. Я вздохнула и перестала шевелиться. В конце концов, если это очередная каверза, то ее можно просто переждать. Пусть себе. Мне все равно. Дергайся, не дергайся, это все равно ничего не изменит.

Как только я успокоилась и приготовилась ждать, кафельная стена поехала в сторону, уступая место бочке с мутной красноватой водой. Я поняла, что смотрю не своими глазами,

что все это происходит не со мной, и наконец-то испугалась. Проняло меня. Почему я должна быть чьим-то зрением? Почему я должна видеть чужую реальность, какие-то отвратительные бочки, дурацкие стены? Я не хочу! Господи, дайте мне умереть спокойно!

Картинка надвинулась на меня, словно кто-то, чьими глазами я смотрела, сделал пару шагов к бочке и заглянул в нее. На поверхности мутной воды плавали чьи-то бело-красные внутренности. Я почувствовала, как подкатывает тошнота. Прекрати, прекрати на это смотреть! Чужой взгляд, словно услышав меня, передвинулся на деревянную поверхность (кажется, дверь, а может, и нет), и передо мной оказалась прибитая гвоздем к стене рыба, выпотрошенная и окровавленная. Я вскрикнула, попыталась отвернуться, закрыть глаза, но видение упорно маячило передо мной, и, кажется, подышающая рыба слабо шевелила плавниками. Мне было очень страшно биться в чужом мозгу и не находить выхода. Картинка застыла, наверное, кто-то не мог оторвать глаз от этой кошмарной кафельной стены и тонких красных струек, складывающихся... в буквы? Это было даже хуже, чем блуждать по коридорам Здания. Кровавые буквы – ведь кто-то взял эту рыбу, а потом макал пальцы в ее растерзанное брюхо и писал – писал эти чудовищные слова, чудовищные, потому что нежные. Смертельная нежность, написанная на кафельной стене и адресованная... Кому? Только бы понять, кому, кажется, кажется, мне кажется... Да, это хуже, чем разбивать зеркала, хуже, чем... Нет, нет, подожди, не выпускай меня, я должна прочесть, что там написано, понять, я пойму...

Картинка исчезла. Передо мной был длинный пустой коридор. Я сидела, прислонившись спиной к стене, и меня бил озноб. На противоположном конце коридора маячила аптечка. Вместо мыслей в голове плескался мутный беловатый раствор, угрожая каждую минуту снова затопить. Где-то слева вдруг начала капать вода. Я сжалась и стала поспешно подниматься на ноги. Я не хочу! Я не хочу больше гонок, видений, звуков! Уймись, оставь меня в покое – ты же видишь, что мне плохо, Господи, да чего же ты хочешь от меня...

Страх усиливал головную боль и дрожь в коленках. Я шла, держась за стену, боясь остановиться и передохнуть, боясь увидеть снова эту кафельную комнату, которая – я чувствовала это – поджидала удобного момента, чтобы снова вклинить меня в чье-то существование. Я шла сквозь плотную пелену воздуха в гуле скрипичного оркестра и старалась думать только о белом пятне аптечки. Я просто заболела. Просто перемерзла на сквозняках и сильно простудилась. И теперь у меня жар. Вот и все, очень просто. Мне надо добраться до аптечки и принять лекарство, а потом набрать еды, топлива и выпить чего-нибудь горячего, а потом я лягу и усну, и мне ничего не будет сниться.

Ветер – в который раз, Здание не оригинально сегодня – швырнул мне в лицо газету. Почему ветер здесь всегда дует навстречу, против, куда бы я ни шла? Я расправила лист и прочитала заголовок. **ЛЮДИ УМИРАЮТ ВО СНЕ.** И под ним: **ЗПУЩЕННЫЕ ПРОСТУДЫ ВЕДУТ К ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ.**

– Ну и что?! – я очень громко крикнула это, задрал голову и уставившись в бледные трубки ламп. – Ну и что?!

Большой кусок штукатурки обвалился с потолка и упал на пол, задев плечо и испачкав меня белым. Я скомкала лист и пошла к аптечке. Ветер стих, старые газеты смиренно лежали вдоль стен. Я шла. Шаг за шагом, словно по пояс в воде; я уже видела пузырьки за стеклом и бумажные облатки с какими-то надписями. Голова болела все сильнее, мысли путались. Шаг за шагом, держась за стену (главное – не упасть), я уже даже различала надписи – Болеутоляющее, Жаропонижающее – слишком уж все хорошо, здесь так не бывает...

До аптечки оставалось шагов пять, когда она неожиданно обвалилась на пол, усыпав все вокруг осколками стекла, и вспыхнула веселым зеленоватым пламенем, радостно потрескивая и плюясь вонючим серым дымом. Через минуту в моем распоряжении остались холодные, как лед, угольки и закопченные стекляшки.

– Ты... ты... – голос срывался. – Ты, чудовище. Мразь поганая. Дерьмо!...

Погас свет, где-то зашумела вода. Мне становилось все хуже. Я потащила вниз,

всхлипывая и бормоча что-то бессвязное, оскорбительное. На моем пути тускнели и дохли лампы, становилось очень холодно. Перед дверью в кладовку я потеряла сознание. Очнувшись в полной темноте и долго не могла понять, где нахожусь. Голова раскалывалась. Я поднялась кое-как на ноги и долго стояла, держась за стену и шатаюсь. Дальше помню отрывочно. Набрала еды, не очень много, меньше, чем хотелось. Помню, как падала на лестницах, а потом ползала в темноте, собирая рассыпавшиеся продукты. Здание веселилось. Когда я переставала искать и поднималась на пролет выше, оно включало свет и показывало, сколько еды осталось на ступеньках. Приходилось возвращаться и подбирать.

В свою комнату я вернулась только к середине дня. Свалила продукты на стол, а сама упала на диван и долго не могла встать. И все боялась, все ждала кафельную стену. Мне очень нужно было прочесть эти красные темнеющие буквы. Не знаю, зачем. Потом пошла собирать щепки, и первое, что увидела в коридоре, – аптечка. Как раз напротив моей комнаты. Так близко, ах ты, мразь, ты, ты...

Я заставила себя отлепиться от двери и сделать четыре шага к аптечке. Она не исчезла, не разбилась, не взорвалась. Она была деревянная, белая и маленькая. Я протянула руку, открыла дверцу и криво усмехнулась. Аптечка сияла пустотой, а к задней стенке был приклеен плакатик: «Мойте руки перед едой», а ниже, в скобках, мелким шрифтом: «Мухи – разносчики заразы». Я стояла и смотрела на буквы, поверх букв, сквозь буквы, и плясали кафельные стены, и шевелили плавниками дохлые рыбы, и звенели-ныли скрипки, долго-долго, тонко-тонко, и темно, темно, темно...

* * *

...Бело-серая му-у-уть... Дымный воздух шатает пространство миро-о-ов... Под дождем не усну-у-уть... Без дождя не вздохну-у-уть...Беспокойная горечь весны-ы... Дождит до утра-а... непосредственный дым... не... не... небольшого костра... а...

Плачу. Го-ос-по-ди-и... Вчера горела соседняя комната... Сегодня ночью ветер тряс дверь, а этажом выше шумела вода... Мне снился выход и дождь... настоящий... настоящий!... м... ма-ма... настоящий выход и настоящий... насто... настоящий дождь... я слушала запах мокрой пыли... слушала... чувствовала... я... не могу... больше... отпусти меня, отпусти меня, выпусти отсюда! Зачем... зачем я тебе? Зачем? Господи, ну зачем? Неужели тебе мало моих снов, ты, ты... Погань ночная... Погань! Неужели тебе мало моих ослепших глаз – я же ничего... не вижу. Я ничего... я ничего не вижу... я ничего не вижу! Я НИЧЕГО НЕ ВИЖУ!!!

Слепая.

Нет.

Нет, нет, неправда.

Не может, не может быть.

Я... Я же не могу... Я не могу не видеть... Я сойду с ума... Я сойду с ума! Пожалуйста, пожалуйста, ну пожалуйста! Я не могу! Не могу! Здесь, в Здании – остаться без глаз, жить только слухом и тыкаться в стены, как слепая мышь, нет, это слишком, нет!!! Ты... Как же так... Это не честно! Я не могу ослепнуть, я не могу ослепнуть, я не могу ослепнуть ЗДЕСЬ...

Темнота. Как темно. Темно, как в бреду. И звуки. Конечно, теперь можно. Теперь можно все. Выползайте, давайте, сколько вас там, вы так ждали!

Нет, нет, глупости. Бред. Мне кажется. Это от страха, это все паника. Мне послышалось. Послышалось? Да здесь ничего никогда не слышится просто так! Ничего и никогда! У каждого звука – хозяин, первопричина и следствие! Темно и тихо – так здесь не бывает. Бывает – темно и еще кто-нибудь рядом. А я теперь даже не вижу, кто смотрит мне в лицо. Господи, ну зачем же... за что же... Я не могу! Я НЕ МОГУ ОСЛЕПНУТЬ ЗДЕСЬ!!!

Свет.

Утро.

Мутный серый свет затекает в комнату, он похож на глину. От него душно. Ну и сон. За окном ворочается туман. Сегодня я готова уже ко всему. Я подумала – в конце концов, туман ничего мне не сделает, он за окном, за стеклом, Здание почему-то не хочет пускать его внутрь. Странно, так меня беречь – парадокс. Почему я должна бояться его бессмысленных желтых глаз? Почему я вообще должна бояться? Я не могу. Я устала. Как же, как же давно, невероятно много дней назад, туман первый раз пошевелился за окном, а я в ужасе шарахнулась от стекла, молясь только об одном и неизвестно, кому: нет, пожалуйста, не надо, я не хочу этого... Пожалуйста, нет...

Сегодня я проснулась, а рядом сопит эта мысль. Я должна. Я обязана его увидеть, пока Здание не отняло у меня и этого. Пусть, наконец, его тяжелое ворочание завершится. Пусть он слепится в голову, повернется и посмотрит мне в глаза. Ведь сегодня он особенно густой. Пусть...

Я лежала на диванчике не могла заставить себя пошевелиться. Какое-то странное оцепенение было в этом дне. Бело-серая муть...под дождем не уснуть... – тоскливо подвывал кто-то внутри. Как холодно. И эта мысль носится по моей комнате, задевает лапами воздух. Она, наверное, похожа на кошку. Мутно-жизненных снов... Что будет, если мы вдруг перестанем притворяться, каждый по-своему? Он – туманом, я – что верю ему. Что тогда будет? Беспокойная горечь весны... Голова тяжелая. Странно, совсем не хочется есть.

Я завозилась, закуталась плотнее в плед, села, прислонившись к стене и поджав ноги. Времени у меня достаточно.

Я сидела и смотрела в туман. Непосредственный дым... Он шевелился немного растерянно и, кажется, никак не мог поверить. Я не торопила его. Кто знает, может, для того, чтобы посмотреть мне в глаза, туману нужно не меньшее мужество... Без дождя не вздохнуть... Я хочу ветра и дождя, – подумала настырная мысль – но только чтобы настоящего, без газет. Дождя. И чтобы тепло, и тихо, и дверь открытую... Небольшого костра... А слез нет. Они закончились, наверное. Жаль. С ними как-то легче.

Я смотрела в туман. Не знаю, долго ли. Но он все никак не мог собраться с духом. Мысль устала и убрела куда-то в коридор, просочившись в замочную скважину. В голове стало пусто-пусто, тоже как-то туманно. Бело-серая муть... Я думала признаки и смотрела в окно.

А потом прилетел голубь.

Взрыв, молния, грохот! Откуда?!

Он был серый, с белыми пятнами, живой, настоящий, с красноватыми лапками, с бусинками отчаянных глаз – мне казалось, что я держу его на ладони, настолько четко и неотвратно, в своих руках... Он бился в окно, хлопал крыльями, я даже слышала, как хлопает вокруг него туман. Я очнулась от столбняка, подскочила на ноги, бросилась к окну, запутавшись в пледе, чуть не упала на пол, но ухватила за подоконник. Голубь был в нескольких сантиметрах от меня, за глухостью и слепотью стекла, и к его лапе была привязана сложенная бумажка. Перехватило дыхание, во рту пересохло. Он хотел внутрь, ко мне, рвался, бился, словно от этого зависела вечность, казалось, сейчас он разобьется в кровь.

Я забыла обо всем на свете, забыла, что нельзя трогать внешние окна, забыла про Здание, забыла про туман. Существовала только серая безнадежная птица, бьющаяся грудью в стекло, голубь, письмо, Господи, голова кружится! Я ухватила за оконные задвижки, попыталась открыть, но не смогла. Рама заржавела, или ее просто заклинило, или это Здание, я не знаю, не знаю!

Я сходила с ума от грохота крыльев, я трясла эту проклятую раму, обдирая руки, ломая ногти, с нее слезла кусками краска, оставляя неприкрытые ржавые язвы. Голубь устал, его глаза стали какими-то тусклыми, но он продолжал биться.

Я попыталась выдавить стекло руками, била в него локтем, но все зря. Это окно стало моим ужасом, мне ничего больше не было нужно, я ничего уже не знала и не понимала,

кроме того, что мне нужно, необходимо, больше жизни, открыть, впустить...

Я заметалась по комнате в поисках чего-нибудь тяжелого, швыряла в стекло консервы, бросала стул, разбивала в синь кулаки, снося кожу с костяшек. Так мы и бились о стекло, как мухи, навстречу друг другу, я и он, и мне иногда казалось, что мы – одно целое. Я даже что-то кричала, кажется, умоляла Здание выпустить – его или меня, было уже все равно.

Потом я вспомнила, что в соседней комнате в куче хлама валялся обломок железного прута. Я бросилась к двери, чуть не выбив ее плечом, я забыла, что она заперта. Я слышала только шум крыльев и усталый стук, похожий на стук маятника. Я вывалилась в коридор, ворвалась в соседнюю комнату. Пусто. Не смей! Не смей, дрянь! Дрянь поганая! Здание не обиделось. Оно-то знало, все знало заранее. Я нашла прут в третьей по счету комнате. Расстояние до моей двери казалось мне бесконечным, я кричала, просила его, подожди, потерпи, еще немного, ну, пожалуйста, слышишь?! Еще минуту! Полминуты! Четверть!

Шаг, полшага, дверь!

Прут со стуком падает на пол. Он больше не нужен. Шаг. Другой. Третий. Тишина. Как в могиле. Я смотрю на стекло и начинаю кричать. Кричу всеми своими снами, своими разбитыми кулаками, содранной кожей, воспаленными веками, кричу своей мольбой и своей ненавистью к Зданию. Кричу и бегу прочь от комнаты, прочь от окна и от того, что осталось от голубя.

Там кровь стекает мутными полосами, медленно, жутко, а в центре, в том месте, где голубь бился грудью в стекло, два отпечатка рук, две красные ладони с растопыренными пальцами, одна немного выше другой.

* * *

Колдуй, колдуй над мягкостью души, закатный остров опиши... прыг-скок, по-во-рот, шаг влево... танцуй, танцуй над святостью костра, авось дотянешь до утра?... Хлоп, хлопок по стене, звук получается звонкий, будто бьешь кого-то по блестящей лысине, и следом: прыг-скок, по-во-рот, танцуй, танцуй над сказкой топора... хлопок! Авось дотянешь до утра?... Шаг влево, прыг-скок... хлопок! По-во-рот, хлопок! Колдуй над тем, кто был тобой вчера... хлопок! Найди того, кто был тобой вчера... прыг-скок, по-во-рот... пойми того, кто был тобой вчера... хлопок! Шаг вправо, хлопок! Убей того, кто был тобой вчера, авось дотянешь до утра?...

Люблю петь песни про вчера... танцуй, танцуй... как там?... танцуй... а, не помню. Глаза слипаются. Я не сплю уже четвертые сутки. Боюсь. Вот да, так просто, боюсь и поэтому не сплю. Пою песни. Почему боюсь? Мне, помнится, приснился улыбающийся садизм, полирующий занозы, и с тех пор я боюсь спать. Это, оказывается, невероятно забавно – не спать, когда спать положено. Я хожу по коридорам, пою песни и шлепаю по блестящим проплешинам стен. Танцуй, танцуй... Нет, не помню.

Главное – это дотянуть до утра. Господи, как хочется спать. Но нет, нет, я лучше еще немного порезвлюсь – ведь до рассвета всего пара часов, а там уже будет легче, можно будет станцевать танго на скользких перилах в платье из лебяжьего пуха, главное, чтобы пространство опять не сжималось в кулак, как на третий день моего бодрствования.

Как там, интересно, моя комната? Не заходила туда примерно столько же, сколько не сплю. Там невозможно – все время чудятся руки на стекле, отпечатки, голубь, да, а туман не желает смотреть, дрянь такая, я ему покажу, вот возьму, вернусь и разобью стекло... да, а потом – как же эта песня?... и еще пространство в кулаке, или нет, кулак в пространстве... нет, все-таки это очень неприятно, когда оказываешься между указательным и средним пальцем, а воздух скручивает тебя в кукиш, сжимая все больше и больше. Он хитрый, этот воздух, он хочет, чтобы я заснула. Но я не засну. Я знаю, что мне нельзя. И мало ли, что вытворяет воздух? Я не хочу, я не желаю так, по указке...

В конце концов, я должна чем-нибудь питаться?! И если подвал решил поиграть со мной в прятки, то пусть, черт возьми, только попробует. Я продержалась четверо суток без

сна, ну так и без еды прекрасно обойдусь. Я вообще не буду смотреть – не хотите песен? Нет? А зря. Я знаю одну такую славную, про вчера, люблю песни про вчера, они какие-то продлевающие... о чем я? Да! Да, так я спою? Ага, ну конечно, с кем тут разговаривать, одни лысые маковки кругом, совсем не понимают в музыке.

Вот я вам – хлоп! Хлоп! Хлоп! Что, взяли?! Ах ты, Боже мой, весело-то как! Только тс-с-с-с... Тихо-тихо... Главное, все Здание не перебудить, а то проснется и будет голову мне морочить. Намаялось, бедненькое, со мной. Ему, как-никак, тоже спать хочется. Господи, сил нет, как хочется. Ну вот, опять стены шатаются. Ну, чего вы лысынами своими качаете, как неродные? А куда это я иду, интересно? Крысами дохлыми пахнет. Удивительно – в Здании так много места – и даже пауков тут не водится. Не выдерживают, наверное. Одна я, как дура, по коридорам брожу...

Коридор-то, кстати... Не-е-ет, нетушки, не пойду, не пойду в свою комнату – и точка! И все, и хватит, мало ли, какие там перины дырявые разбросаны... Погодите, а дверь почему открыта? Фу ты, холодно, сквозняк какой, надо закрыть, а то продует, и будет у меня сопливая комната. Да, я только дверь закрою... А это что? Откуда у меня дым в комнате, ну и дымища, а ну, брысь! Кыш отсюда! Давно не видели! Кыш, кыш, пошел! Ну, что мне тебя, пледом вымахивать-выветривать? А где плед, кстати? А, вот, на диванчике, как обычно, уф, упарилась. Совсем с ума Здание сошло, распоясалось. Стоит оставить без присмотра, сразу штучки какие-то, бардак, свинарник. А-а-а-а... Господи, челюсти сейчас вывихну... Ну, нет, на эту удочку ты меня не поймаешь, нет, не поймаешь, я не настолько глупа... Я только посижу немного, угреюсь, а потом уйду, я не буду спать, еще чего, четыре дня обходилась, да и не хочется мне... Эх, стена какая холодная. Нет, не надейся даже, мне просто неудобно сидеть. Я только прилягу ненадолго, а потом пойду в подвал за едой... Свет какой яркий... глаза... режет... Я только полежу, совсем чуть-чуть... немного... совсем... чуть-чуть... я... не...

Свет вокруг меркнет, мигает, а то снова вспыхивает. Как спокойно и равнодушно. И необычайно холодно. И пахнет сигаретным дымом. Дымом? Сигареты? Запах? Я лежу на диванчике и дрожу от холода. Что-то странное и злое происходит внутри времени. Я сплю? Может быть. В этом Здании я разучилась различать сны и реальность. Я только знаю, что лежу на животе, прижавшись щекой к диванной обивке, тоскливо смотрю в пол и не могу подняться. Кажется, все-таки сплю. И еще: надо найти зеркало, последнее, не разбитое пока мною зеркало. Оно где-то в коридорах смеется надо мной, как открытый террариум, из которого выползают змеи.

Страшно и суетно. Я сплю. Я знаю. Мне надо проснуться, но что-то не дает. И вдруг – ноги. Я смотрю в пол, а они появляются передо мной, ткутся, волнуются, густеют, но наконец появляются. Женские ноги в черных бархатных туфлях на шпильках, в черных шелковых, очень свободных, брюках. Да, я сплю. Теперь точно. Уже наверняка. Ведь в Здании никого, кроме меня, нет. Я пытаюсь подняться и не могу. Мне нужно проснуться. Нужно! Если это сон – а это сон – мне очень страшно, от этой женщины, на которую я не могу посмотреть, веет плесенью и сигаретами. Это от нее несет холодом, я знаю. А еще я знаю, что она улыбается. И что у нее очень красные губы.

Я попыталась пошевелиться, и пространство заерзало у меня перед глазами. Я хотела крикнуть, вскочить, но вышел какой-то хриплый отчаянный стон, как от боли. Я не могу. Я не могу проснуться. Эта мысль колотится изнутри в виски, выступая на лбу липким холодным потом.

Она схватила меня за волосы и откинула мою голову назад, вглядываясь в лицо. Я потеряла голос и волю. Я перестала существовать. Она держала за волосы маленький детский страх, съжившийся под ее холодным существованием. Я знала ее, а она – меня. Я знала, что она – смерть, а она знала, что я – не тот, кто ей нужен. И одной только вещи мы не знали: останусь ли я, не нужная ей, жить. Она была высокая, худая, с тонкой талией, костлявыми плечами и маленькой впалой грудью; вся в черном – брюки, туфли, обтягивающая майка и безразмерный, небрежно накинутый пиджак. Бархотка на шее.

Черные очень коротко стриженные волосы. Серьги в ушах. Выщипанные в ниточку брови. Тонкий нос. Высокие скулы, пустые глаза, резко очерченный подбородок, тонкие красные, очень красные губы. Длинные ногти на тонких пальцах, черный лак на ногтях, очень длинная и тонкая сигарета. Очень. До одури бледная кожа. Она смотрела на меня и слегка покачивалась на своих каблуках. Потом затянулась, выпустила тонкую струйку дыма и улыбнулась. Зубы у нее были мелкие, белые, очень белые. Острые.

Воздух свернулся в легких, и сердце почти остановилось, когда она вдруг отпустила меня и медленно прошла по комнате. Вокруг ее каблучков взметались легкие облачка не то пыли, не то тумана. Я сглотнула крик, оцарапав горло, и почувствовала, что седею. Оттого что она такая длинная и тонкая. Оттого что она чуть не сломала мне шею. Оттого что ей абсолютно все безразлично. Она стряхнула пепел на подоконник и повернулась ко мне. Демонстрация силы.

– Что же ты так молчишь, золотце?

Я видела только ее губы, выпускающие задымленные слова, и меня колотил озноб. Она снова стряхнула пепел, улыбнулась:

– Деточка, мне тут нужен один... – сизые колечки дыма кружили хоровод. – Ты ведь здесь давно, уже все должна знать. Где мне его найти?

– Кого? – я не сказала это, просто пошевелила губами, но она услышала. Да ей и не нужны были слова.

– Ну, радость моя, не притворяйся. Его. Ты же знаешь. Сама все прекрасно знаешь.

– Здесь никого больше нет. Никого, кроме меня.

В ее глазах что-то шевельнулось. Что-то, похожее на мокрицу.

– Зачем ты меня обманываешь? Это нехорошо. Это очень нехорошо... – она сделала шаг ко мне. Как же хотелось завизжать пронзительно, громче, чем горит огонь, чем кричит Здание, завизжать и проснуться! Получился хриплый отчаянный шепот:

– Я не знаю! Здесь никого нет больше! Я здесь одна! Я ничего не знаю! Ради бога, оставьте меня, клянусь, здесь никого больше нет!

Она сделала еще два шага и села рядом со мной. От нее пахло подвалом.

– Ну, ну, ну. Не расстраивайся. Отчего ты так дрожишь? Замерзла? Я тебя согрею.

Она положила руки мне на плечи. Не знаю, почему я не умерла в тот же миг. Ее руки были холодны, холоднее самого холодного страха, холоднее и отвратительнее всего, что мне встречалось в Здании. Мне казалось – они прожигают холодом кожу, кости, пробираются до самого сердца, а она дышала на меня гнилью и что-то говорила. Я не могла пошевелиться.

– Не на... до...

Стон утонул в ее воздухе.

– Ну, что же ты, золотце. Хочешь, я тебе бусы подарю? А ты мне скажешь, где он, иначе будет плохо... Хуже, чем было, поверь мне. Ну, вспомнила?

– Я не знаю! Не знаю!

– Смотри, какие бусы. Тебе будет очень хорошо в них. Смотри – красные, белые, зеленые, и шнурок такой крепкий... Скажи мне.

– Я не знаю! Не знаю! Нет!

Она надела бусы мне на шею и тихо засмеялась.

– Не знаешь... Разбей зеркало!

– ...

Она душила меня долго и мучительно, царапая ногтями шею, вдавливая шнурок в горло. Ко мне вернулась способность двигаться, но задавленный крик перешел в тихое хрипение, перед глазамиплыли оранжевые и черные пятна, я слабо пыталась разорвать петлю, и над всем этим едко посмеивался сигаретный дым. А потом шнурок лопнул, и она начала таять, все еще протягивая ко мне руки, таять, таять, таять, а я кричала, кричала...

– МА-А-А-А-А-АМА-А-А-А-А-А-А-А-А!!!

Тишина. Холодно. Вскочила на ноги, чуть не упала, выпутываясь из пледа. Струйки пота по вискам. Сон. Ну, конечно же, сон. Просто сон. И больше ничего. Просто сон. Мне приснилось, ну, конечно же, мне просто приснилось. Я просто долго не спала, и Здание заманило меня сюда и подсунуло очередной кошмар. Ну, конечно же, это просто сон. Их много бродит по коридорам, и каждый мечтает только об одном: кому-нибудь присниться. И они снятся мне. Вот почему нельзя спать днем. Вот почему вообще нельзя спать. Да, это просто сон. Ну, хватит, хватит, успокойся, не колотись так. Мало мне, что ли, кошмаров снилось? Пора бы уже и привыкнуть. Господи, ну почему я? Ты, чудовище облупленное, никому не нужное, ну почему я? Почему? Ты что, питаешься моим страхом, моей болью, моими слезами? Неужели тебе не надоело выкачивать из меня полынную горечь? Неужели тебе самому не тошно от этого всего? Почему я? Чего ты от меня хочешь? Ты видишь, я даже плакать уже не могу, только судорожно вдыхаю и выдыхаю сухой воздух, искривив губы в какой-то не то улыбке, не то гримасе...

Здание молчало. Ну, конечно, чего от него еще ждать. Оно всегда молчит, когда тебе нужен ответ. Оно разговаривает только тогда, когда у тебя глаза на лоб лезут от ужаса, когда ты не соображаешь уже ничего – вот тогда – пожалуйста, оно сообщает тебе о том, что во сне люди умирают или что надо разбить зеркало. Стоп. Разбить зеркало?

Я вспомнила ее, и меня опять затрясло. А может, она – и есть Здание? Слишком уж ясно я ее видела, чувствовала, у меня даже горло болит до сих пор. Чего она хотела от меня? Найти кого-то, сказать, где он...

Кого-то...

Но здесь никого, кроме меня...

нет?

Нет, спокойно, только не надеяться. На эту удочку я не попадусь. Конечно же, здесь никого, кроме меня, нет.

Но ведь...

Она же ушла. Не потому, что я так сильно боролась, нет, это смешно, она просто УШЛА куда-то, и это странно, она запросто могла убить меня, но бросила, как бросает собака игрушку, когда почует мясо. Она искала кого-то... Нет, нет, это просто сон. Мне приснилось. Очередной кошмар, только и всего. Нельзя доверять снам. Ну, во всяком случае, не полностью. Разбить зеркало... Разбить зеркало! Да!

Я снова вскочила на ноги. Голова кружилась. Разбить зеркало – ну конечно же! Я ведь даже знаю, где его искать – в комнате с плюшевым креслом. Не важно, что комнаты этой, скорее всего, просто не существует. Ведь значительна не она, и не она содержит главное! Это всего лишь ориентир, наметка, не знаю, почему, но Здание снова решило поиграть со мной в опасные игры, может статься, что мне даже не будут мешать. Разбить зеркало. Да, да! Пусть это всего лишь сон, бред, но кто сказал, что Здание подчиняется каким-то логическим законам? Точно! Разбить зеркало!

Голова кружится. Я заметалась по комнате в поисках чего-то тяжелого. Было очень трудно остановить взгляд на чем-то одном, сосредоточиться. Лихорадочность моих движений передалась туману, и он заворочался, зашевелился, заерзал... Мне было не до него. Не важно, найду я что-нибудь или нет. Зеркало можно разбить и локтем. Уж кто-кто, а я это знаю. Здание подсовывало мне всякую рухлядь: литровые банки, старые прокопченные скатерти, дверные ручки, битые вазы... Черт возьми, ну откуда в моей комнате берется столько барахла?! Ненужного, грязного барахла...

Он все еще лежал там, у порога, там, где выпал из моих рук – кусок железного прута. Ты отняло у меня память, почему же ты не даешь мне забыть ЭТО? Хорошо, он пригодится. Я оставлю его себе, пусть это будет как записная книжка, напоминка.

Скажи, голубь – это была твоя оплошность? Правда ведь? Откуда он прилетел? Нет-нет, я не собираюсь снова впадать в истерику и сбегать из своей комнаты, уже переболела. Достаточно было одного раза. И все-таки? Значит, там есть что-то? Ты – не конец вселенной, ведь так? Так... Значит, можно выйти отсюда, можно... Хорошо, я сделаю,

как ты хочешь. В последний раз. А потом я буду искать. Нет, не комнату с плюшевым креслом. Выход.

Я сжала прут в руке, выскочила из комнаты и побежала по коридорам. Двери мелькали в пляске святого Витта, стены качало. Разбить зеркало? О да, я разобью его. В этом вы можете на меня положиться. Дайте мне только добраться, я не пожалею сил. Даже если мне придется полностью превратиться в удар, я не пожалею и себя. Разбить зеркало... Я вложу в этот удар все свои кошмары, свою несуществующую память. Она должна у меня быть – в газете я прочитала, что она должна быть у каждого, – но ее у меня нет. Вот так. Разбить зеркало.

Я бежала долго. Я нашла его. В коридоре и не пахло комнатой с плюшевым креслом. Мне даже не пришлось никуда заходить. Оно висело на стене, большое, почти с меня, я отражалась в нем до колен. Нет, я не стала плакать и ужасаться. Я знала, какое меня ждет отражение. Ярость вдруг куда-то исчезла, и стало страшно. Все-таки я давно не смотрела себе в глаза. И теперь как-то щемяще-странно было видеть себя и вспоминать, какая я на самом деле.

Я поудобнее ухватила прут вспотевшей ладонью. Руки дрожали. Холодно. Разбить зеркало... Зачем? Кому оно мешает, это последнее отражение? И кто сказал, что оно последнее? Неужели всю жизнь я вот так и буду бегать по коридорам, выполняя поручения Здания, и убивать саму себя... Вон какие у меня жалобные глаза. Это значит, что мне очень хочется жить. Чем я провинилась сама перед собой? Разве это так уж необходимо – крушить и портить...

Может, я собралась убить свою душу, кто знает, может, она стала бы приходить и разговаривать со мной, и однажды случайно рассказала бы мне, как выйти отсюда. Кто сказал, что я должна это сделать – черноволосая тварь из кошмарного сна? Я не хочу. Не хочу. Тогда почему я стою здесь до сих пор, как истукан, и не могу уйти, все смотрю, смотрю себе в глаза...

Я спрятала лицо в ладонях, выронив прут, и заплакала. А когда подняла глаза, Она стояла у меня за спиной, улыбалась и курила. Отражение в панике пыталось выбраться из зеркала и не могло. Наверное, у меня был столбняк, потому что я смогла только закусить губу, с шумом втянуть сквозь стиснутые зубы воздух. Она смотрела из зеркала, стоя у меня за спиной, курила, улыбалась, пила из меня страх. Потом засмеялась. Очень тихо, но я услышала. Бешеным рывком обернулась. Пусто. Она засмеялась еще раз, над самым ухом. Шея занемела, как будто к ней приложили кусок льда. Двигаться трудно. Я метнулась взглядом к зеркалу и нашла в себе силы закричать. Она положила мне руку на затылок и перебирала пряди дымными пальцами. Мне казалось, что Она перебирает мои мысли. Я шарахнулась в сторону, все еще крича, упала на четвереньки, мотая головой и пытаясь сбросить с затылка несуществующую руку, ползала по полу, путаясь в одежде, и тонула в Ее смехе.

Потом наткнулась на прут, подняла голову и, вскочив на ноги, с бешеным визгом швырнула его в зеркало. Когда разбитое стекло сыпалось к моим ногам, Ее там уже не было. Только в конце коридора вздымались маленькие облачка не то пыли, не то тумана, постепенно удаляясь. Я упала на колени и хватала руками осколки зеркала, словно собственную несуществующую память. Хватала, резала в кровь пальцы и снова роняла на пол. Слезы и кровь, смешиваясь, капали на зеркальное стекло, соревнуясь в солёности, и оставляли симпатичные пятна с разводами, похожие на больные чахоткой гвоздики.

Я распахнула дверь и вошла в свою комнату. Я нашла ее очень быстро. Тишина и холод с почётом проводили меня до порога. *Finita la comedia*. Концерт окончен. Занавес, господа! Я не слышу оваций! На полу возле дивана лежал порванный шнурок с несколькими бусинами белого, красного и зеленого цвета. На подоконнике, в сизой кучке пепла, копошились какие-то многоножки. Меня стошнило. Утерлась, подняла глаза – подоконник был чист, пол усмехался голыми досками. Антракт, – сказала я себе. – Антракт.

* * *

Один раз, всего один-единственный раз мне показалось, что я что-то понимаю в Здании. Мне стало так неожиданно щекотно от этой мысли, что я засмеялась. Я понимаю Здание! Его извращенная логика перестала от меня ускользать!

Наступивший день не был оригинален. С утра туман влип в небо, и я созерцала серые просторы неизвестно чего, а по этажам ветер гонял желтые скатерти газет. Постоянный шорох и шелестение создавали нехитрую музыку коридоров. Это было проще, чем две черные змеи, проще, чем лестничный пролет, проще, чем страх. Я нашла выход. Я поняла освобождение. Я достигла мудрости и простоты входной двери. Господи, да я почти любила Здание! Мне было светло и безмятежно. Первый разговор с самой собой казался данностью, застывшие холодные окна – дорогим подарком. Газеты пели самую прекрасную песню, которую я когда-либо слышала. Она звучала гимном финала, одой победы, колыбельной завершения. Я знала выход.

А ведь сколько времени и усилий потратило Здание, чтобы я поняла, наконец, что нужно делать. День за днем, кошмар за кошмаром, каверза за каверзой Здание заставляло меня собрать все необходимое для ухода. Это было идеально подготовленное действие, приятное уже потому, что не нужно было хлопотать, создавая условия.

Я знала выход. Это знание пришло как-то само собой, как логическое завершение страшного сна, подаренного мне Зданием. Оно пришло и больше не оставляло меня, подбадривая и утешая, помогая любить пустые комнаты, верить в разбитые стекла. Я знала выход.

Сделать нужно было очень немного. Я аккуратно сложила свой старенький плед в изголовье дивана, вымела мусор из комнаты, выкинула пустые бутылки. Я не хотела оставлять свою комнату в захлавленном виде. Я достала свое нехитрое имущество и разложила его на столе. У меня своя летопись. Она первобытна и вещественна, но другой здесь быть не может.

Деревянный гребешок с двумя отломанными зубчиками – его я нашла в подвале, после того, как литая дверь из стали, захлопнувшись, защемила мои волосы, и я оказалась на привязи. Смешно? Тогда мне смешно не было. Сутки сидеть в темном подвале и слушать, как что-то копошится по углам, поскрипывая и хныча, мерзнуть, не иметь возможности даже нормально сесть... Да, я помню, сидеть получалось только как следует выпрямившись и вытянув шею, будто страус. А самое противное, что давал знать о себе мочевой пузырь, и я все время боялась обмочиться. Смешно. Мне даже нечем было их отрезать, эти глупые пряди. В конце концов, я решила, что попытаюсь их оборвать, хотя и не представляла, как это можно сделать. Видимо, Здание решило, что с длинными волосами я ему нравлюсь больше, и выпустило меня. На выходе из подвала лежал гребешок. Помню, я пришла в дикую ярость, грянула его об стену, тогда-то и отлетели эти два зубчика, странно, как он вообще не развалился на мелкие щепки. Потом мне стало стыдно. Гребешок я оставила себе.

Узенькая синяя ленточка – она долго преследовала меня в кошмарах, приползая, как змея, к моей кровати и сворачиваясь красивыми кольцами на подушке. В конце концов, я не выдержала и во сне сожгла ее, тогда она приползла ко мне по-настоящему.

Осколок зеркала – того самого, последнего, теперь я понимаю, для чего нужно было его разбить. О Ней я стараюсь не вспоминать. Ничего не изменилось с тех пор, я никого не нашла в пустых убогих комнатах, да, в сущности, не очень-то и искала. Этот осколок я принесла к себе в комнату еще в тот вечер, мне все казалось, что отражение мое не погибло, что оно живет там, в остром кусочке стекла. Не знаю. Мне просто было жаль его.

Лист бумаги с изображением человеческого глаза. Я нарисовала его сама еще тогда, когда верила в существование хозяина. Я не уверена, что это был именно он, вряд ли. Просто меня мучил этот затравленный диковатый взгляд из-под спутанных вьющихся волос, откуда-то он был в моей голове. Мне все казалось, что ему тесно там, что он ищет выход, как

и я. Нужно было этот выход ему подарить. Я не умею рисовать. Обгоревшие спички – не бог весть, какой подручный материал, но другого у меня не было. И еще – совсем тихонько, тайком даже от себя, я надеялась, что этот взгляд обрастет лицом, может быть, тогда... Да что там, глупости все это. Но все-таки я нарисовала его, как умела. Иногда по вечерам я смотрела на рисунок, когда было совсем уж невмоготу.

Я погладила бумагу рукой и убрала рисунок на подоконник. Пусть смотрит в туман, может, ему повезет больше, чем мне. С собой его брать я не собиралась. Я расчесала волосы и заплела их в косу. Она получилась чуть ниже пояса. Скрутив косу в тугой узел на затылке, перевязала его лентой и улыбнулась. Узел был тяжелый и оттягивал голову назад, гордо выставляя вперед подбородок. Осколок зеркала поместился в ладони почти весь, и я немедленно порезалась, но это уже не имело значения. Я вышла из комнаты и закрыла дверь. Сюда я больше не вернусь. Душевая была расположена в конце коридора, так что далеко идти мне не пришлось. Здание помогало мне во всем, и каждый шаг удавался мне на диво легко. Конечно, ведь я шла к выходу.

В душевой не было ванны, но был небольшой круглый таз, очень хороший, почти новый, без дырок. Я открыла кран, набрала в него горячей воды чуть не до краев. Мне необычайно везло, но такой уж это был день. Я опустила озябшие руки в воду до локтя и подумала, что вот, наконец-то, мне будет тепло и тихо, и свободно. Потому что я иду к выходу. Я села на пол, прислонилась спиной к кафельной стене, поставила таз на колени, грела руки. Осмотрелась. Подмигнула открытой двери. Ветер заглядывал в душевую, изумленно моргая, и не мог понять, что происходит. Я улыбнулась, и ветер исчез. Прощай, – сказала я Зданию и осколком зеркала перерезала себе вены. Было почти не больно.

– Ах ты, ах ты, ах ты!

– Дрянь неземная, чего уж говорить.

– А ты брился-то?

– Молчи, знай, умник! Не до тебя. Ах ты, ах ты!

– Разахался. Шевелись, дубина.

– Шипы. Раствор. Еще. Плесень. Так. Шипы.

– Вот дрянь, вот дрянь...

Звяк, звяк, и чавканье, и странное копошение. Холодный белый свет. Очень холодный. Шлепанье, мягкое гнойное шлепанье. Бормотание. Бу-бу-бу – скрипучие шерстяные голоса.

– А ведь знали, знали, знали же!

– Ах ты, ну что ж это!

– Молчать. Шипы. Раствор. Еще. Паутину. Еще. Шипы. Шейте!

– Да будет уже, раскомандовался!

– Раствора еще! Истекает же. Плесень! Шейте!

– Крупы, крупчатка, крупица, крупки, крупиночка...

– Молчать. Шипы. Паутину. Шейте. Истечет.

– Ничего подобного.

Шлепанье, теплое грязевое шлепанье – и сырость. Бегают по рукам пальцы, волосатые, грубые, кривые, грязные пальцы, по рукам, внутри рук. Что-то выискивают, копошатся, мерзко перебирают хитросплетения сосудов и вен. Не больно – отвратительно. До одури. И бормотание. И холод. И белый резкий свет сквозь веки. И скрипучие шерстяные голоса.

– Интересно, что там внутри?

– Где?

– Ах ты, ну, в самой середине.

– Охота во всякой падали копать, дрянь.

– Молчать. Почти закончили. Показатели?

– Трепыхается, дрянь неземная.

– Отлично.

– Ненадолго, ради интереса!

- Иди ты...
- Ах ты ж!
- Продольную пункцию можно, конечно...

Шуршание, сырость. Стылые руки, волосатые, гадкие руки, безнаказанные, любопытные руки. Холод, острая боль и копошение, копошение, копошение внутри меня...

- Пошире, пошире, так ни хрена ж не видно!
- Опасно. Подохнет, дрянь.
- Ну же!
- Дрянь, дрянь. Нельзя.
- Ну!
- И так на издыхании.

Хлюпанье, омерзительное копошение. Боль. Веки вздрагивают и медленно поднимаются. Глаза остекленели. В них отражаются волосатые сгорбленные твари в колпаках из дерюги со скрюченными лапами, грязные, отвратительные, желтоглазые, большеротые, со шлепающими губами серого цвета и скрипучими шерстяными голосами. Из уголков рта медленно стекает вязкая слюна и застывает белесыми каплями в жестких волосах. Все это отражается всего на секунду – и твари, и ржавые иглы, и клубки паутины, и тошнотворная жидкость бурого цвета в захватанной бутылке – всего на секунду, и глаза оживают.

- Н-н-н-и-и-э-э-э-а-а-а!!!!

Я кричу, бьюсь, дергаю привязанными к чему-то руками, ору до судорог, а животу мокро и больно. Твари и белый свет, кружась, штопором уходят вверх, в темноту, и последнее, что я слышу, утробно-визгливое:

- Шейте! Шейте, дрянь! Крупы, крупы, крупиночки...
- А-а-а-а-а-а-а-а-а!!!!!!!

Я очнулась на полу душевой, все еще крича, увидела ненавистно-знакомые стены и затихла. Посмотрела на руки. Запястья и до локтя – все было вымазано плесенью и паутиной. Приподнялась на локтях, застонала. Выглядывая из складок разорванной одежды, слезливо кровоточил, смешиваясь с липкой грязью, ровный продольный разрез. Он быстро уменьшался в размерах, и через две секунды на животе не осталось ничего, кроме грязных пятен и чувства гадливости. Я хотела подняться, но получилось встать только на четвереньки. Руки-ноги дрожали мерзкой дрожью, к горлу подкатывала тошнота, кружилась голова, шумело в ушах.

Ничего не хотелось больше, только воды, воды, воды, чтобы смыть с себя эту липкую грязь, при мысли о которой содрогаешься всем телом. Ничего больше не волновало и не пугало. Потом. Потом. Все потом. Все вопросы, все мысли, вся ненависть – все потом. Я подползла к тазу, стоявшему под умывальником, и тупо уставилась на мутную красную воду. Возле таза на полу валялся осколок зеркала, тоже весь красный.

Нет. Все потом. Меня ничего не интересует, я ничего не помню и не хочу помнить. Я вообще НЕ. Все после. Пожалуйста. Все после. Из кранов с шумом полилась вода. Я отмыла руки, стянула платье, вымыла живот. Держась за стену, побрела, волоча за собой одежду, еле переставляя ноги, шла очень долго, сама не знала, куда. Где-то в коридоре упала. Долго лежала на полу лицом вниз, но пришлось одеться и встать. Что-то вело меня, как марионетку.

Я не хотела никуда идти. Если бы мне позволили, я бы легла тут и больше никогда не поднималась. Но меня заставили. Каким-то чудом оказалась в своей комнате, развернула плед, закуталась в него, хотя не понимала, зачем, ведь холодно не было. Вообще ничего не было. Меня подняли с дивана и подвели к окну. На подоконнике лежал какой-то рисунок, и я взяла его в руки. С потрепанного листа на меня смотрел круглый желтый глаз вертикальным зрачком и голыми веками, обросший жесткими грязными волосами. Я безучастно смотрела в его тупую злобу, а потом вдруг все вспомнила и...

нет, не закричала. Странно. Все равно. Меня нет. Есть потерянное, использованное и смятое существование, а больше ничего. Меня поймали. Вот так. Я отложила рисунок и прошлась задумчиво по комнате, не зная, что делать. Потом мне на глаза попались спички. Я взяла рисунок, завернула его в несколько слоев газеты, подожгла с трех сторон и выбросила в коридор. Закрыла плотно дверь, облокотилась на нее спиной. Меня поймали. Вот так. Было так тихо, что потрескивание горящей бумаги казалось фейерверком.

– Крупы, крупы, крупиночки... – пробормотал едкий дымок, просачиваясь под дверь и клубясь вокруг моих ног. Я вдруг почувствовало, как что-то тяжелое и темное колыхнулось внутри меня. Сцепила зубы, медленно отошла к дивану, обернулась. Дыма становилось все больше, он густел, уплотнялся и начинал лепиться во что-то очень знакомое. Я стояла, прислушиваясь с легким удивлением к той темной глыбе, которая ворочалась во мне. Еще рано. Еще рано, еще не предел, давай, дай мне предел, он мне нужен.

– Дрянь неземная, – шепнуло облако.

Меня затопило. Это черное, тяжелое, гневное – оно затопило меня, мурашки пробежали по спине, пересохло во рту, перед глазами – красный занавес.

– Убирайся. Убирайся к черту, мразь вонючая, мерзость, – голос глухой, клокочет что-то, сейчас прорвется, сейчас... – К дьяволу, куда угодно. Ублюдок. Погань. Убирайся!

Облако пришепetyвало и плавно принимало очертания волосатой твари. И тут прорвало. Ярость нахлынула на меня, закружила в ярком водовороте, проясняя мысли, оттачивая логику движений.

– Поиграть захотелось?! Отлично! Сейчас я тебе устрою сквозняк! Сейчас я тебя проветрю! Плевала я на тебя! Плевала!

Дым заволновался и потерял очертания. Я схватила свой заветный обломок железного прута, повернулась к окну, размахнулась...

Здание кричало. Дым исчез, моя дверь тоскливо скрипнула и закачалась, в соседних комнатах тревожно звякали бутылки, с потолка сыпалась белая пыль известка. Я застыла у окна, цепляясь за подоконник, и пыталась успокоить бухающее сердце. Здание трясло. Я еле держалась на ногах. Мой колченогий стол зашелся сухим треском и покосился еще больше, дверь сорвало с нижней петли, пол ходил ходуном. Не удержалась на ногах, упала, стукнувшись затылком о стену, меня заносило пылью и обрывками газет.

Здание утихало постепенно. Минут через десять ветер снова зашуршал в коридоре бумагой, я стряхнула с себя мусор, поднялась с пола, села на диван. Я ведь так, в сущности, и не успела понять, что произошло. Мысли бились в голове тупо, как мухи о стекло, я не могла сосредоточиться. Надо было успокоиться, занять себя чем-то. Я огляделась и заметила треснувшую ножку стола. Это было совсем не сложно, в соседней комнате нашлось немало тряпок. Я вернулась к себе, уселась на пол и принялась бинтовать сломанный стол. Левая ладонь отзывалась резкой болью, а тряпки окрасились красным. Я недоумевающе разглядывала ровные порезы на ладони, а потом вспомнила осколок зеркала. Может быть, это ветер переусердствовал, или мне показалось, но в комнате стало очень холодно. Я поежилась. Нужно было посмотреть, действительно нужно, но как-то страшно. Я вздохнула, закатала рукава и глянула на запястья. Ничего. Разглядывать живот смысла не было.

* * *

Холодно, холодно. Здание, как же мне холодно. Я обескровлена уже много дней. Я брожу по коридорам, белая, как туман, мои пустые сосуды высыхают и превращаются в ломкие палочки. Мое тело шуршит горелой бумагой, легкое-легкое, потому что я вся высохла, совсем без крови, и скоро ветер понесет меня по коридору, словно мятую газету. Я не могу. Я боюсь. И мне холодно.

У меня было очень много крови. Очень много, жаркой, красной, очень красивой. Еще у меня были длинные волосы. Я выходила из своей комнаты, открывала все краны на этаже и

танцевала босиком по воде. Такой у меня был праздник. Я танцевала, пела, кружилась, волосы стлались широким пшеничным плащом в узкой коробке коридора. Важно было не пропустить тот момент, когда вода веселыми ручейками прыгала по ступеням вниз, и Здание начинало захлебываться. Оно издавало такой странный вздохобразный звук, как будто сдувалась шина или резиновый мяч. Я даже испытывала нечто вроде триумфа, очень глупо и наивно чувствовала, заставляла чувствовать себя...

Как холодно, стены. Ты никогда не простишь мне моих праздников, да? Я очень хорошо помню, как ты делало вид, что сдаешься, и вода текла, текла, затапливая подвал. Где моя вода? Ты ведь не бездонный колодец – где ты заканчиваешься? Ты, мнимо всесильное. Не может быть, чтобы нигде. Но уходит куда-то моя вода, мой страх, мое одиночество, моя безнадежность. Столько моего уходит в черную безымянную дыру непонятого дня.

Прошел снег, и растаял, и снова прошел... Мне холодно, мне очень холодно, окна, слышите? Оно прислало ко мне старуху, громадную, седую, оплывшую, в серых вонючих лохмотьях, со спутанными космами грязных волос. Старуха пришла во сне, шлепая босыми ногами, сумасшедше хихикая и пританцовывая. Она бродила по комнате и искала меня, шелкая ржавыми портновскими ножницами, что-то бормотала, ныла странную мелодию. Наверное, она была слепая, не знаю.

Я долго смотрела в темноту. Тени цеплялись за нее, пытаюсь ожить, а она шелкала ножницами и хихикала. Я слезла с диванчика и поползла к двери, пытаюсь сдержаться и не закричать, а потом услышала ее за собой и не выдержала.

Она меня поймала. Окна, слышите, она меня поймала. Намотала волосы на кулак и заставила посмотреть себе в лицо. У нее были мои глаза.

Она отрезала мои волосы, у самых корней, швырнула на пол, долго и яростно топтала, а потом исчезла. Сквозняк холодил неожиданно беззащитную шею, ветер заглядывал в комнату. Я подползла к вороху своих русых мыслей и протянула руку. Страшно было дотрагиваться. Мне все казалось, что сейчас они, как змеи, зашипят и шарахнутся в сторону или уползут в коридор – одним призраком больше, ничего особенного.

А потом из меня начала вытекать кровь. Из каждой обрезанной пряди, из каждого волоса, как будто открыли шлюзы, как будто старуха перерезала вены, а не косы. Я физически чувствовала, как пустею, как во мне воцаряется вакуум – идеальное место обитания для смерти. Кровью пропиталась одежда, кровь заливала глаза, кровь капала на пол с кончиков пальцев. Моя кровь, яркая, теплая, живая, я теряла ее, как теряют, наверное, ребенка, а с ней все, что у меня было: несуществующее завтра, неопределенное вчера, ненастоящее сегодня. Здание устроило свой праздник, просто теперь была моя очередь захлебываться.

Утром я нашла ржавые портновские ножницы возле окна и больше ничего. Только слабость, головокружение и ржавые ножницы.

Теперь она приходит каждую ночь, и все повторяется: взгляд, ножницы, кровь. Взгляд, ножницы, кровь. Взгляд, ножницы, кровь. Я знаю, что привыкну к этой роли. Да-да, и к этой тоже. Кому какое дело, чем живет мое естество, и живет ли вообще. Что бродит внутри меня, в паутине моих хрупких костей, в мертвой пустыне моего сердца. Оно уже почти не бьется, ему не за чем, потому что крови больше нет, и ничего больше нет, ни меня, ни моих снов, ни моих слез, ни моего страха. Кажется, я делаю вид, что живу, играю с кем-то в глупую бесконечную игру. А на самом деле я умерла, наверное, уже давно, и эта старуха приходит сама к себе. А может, это я прихожу сама к себе по ночам, потому что устала и не могу больше, и пускаю себе кровь, и смеюсь над собой, потому что слишком многое стала понимать. Слишком ко многому привыкла. Стены, не рассказывайте мне сказку о бесконечности не моего бытия. Мне больше не нужен первый этаж, мне больше не нужна открытая дверь, мне больше ничего не нужно, и я сама себе тоже не нужна. Я существую из какого-то странного упрямства, просто по привычке, не знаю.

Шел снег. Опять снег. Я брела по коридору, и мне казалось, что я движусь по кругу – за окнами все пугающе-белое, бесконечно-белое, настырно-белое, насмешливо-белое. Меня не

проведешь. Я-то знаю, что это не настоящая зима, она приходит и уходит, когда ей вздумается. Она тоже ходит по кругу, вокруг Здания, как лошадь на привязи, как цепной пес. А иногда неожиданно кидается на стены в тщетной попытке выцарапать Зданию глаза. Подержит его в цепких объятиях, а потом заплачет. У нее ничего не получается. Она несчастна, оттого зла молниеносно дурнеет, чернеет, скукоживается и уползает в свою конуру. А за окном тает снег, убивая еще одну белую мудрость.

Я шла по коридору и заглядывала в открытые двери. В каждую. Это был уже, черт знает, какой этаж. Я проходила по коридору, мимо окон и дверей, спускалась на два лестничных пролета и заходила в новый коридор, к новым дверям, к новым окнам, и так до бесконечности. Я ничего не искала, я ни к чему не стремилась. Просто нужно было чем-то заняться.

Что-то зудело, настырно и неумно, у меня в голове, какая-то мысль, которая очень хотела жить. Я отмахивалась от нее, от этой мысли, я слишком устала. Я больше не могу думать. Не могу и не хочу. Это невозможно – думать здесь. Какие мысли, какие мысли были у меня раньше, какие... Нет, не хочу думать. У меня больше нет мыслей. Я не буду плодить новых призраков. Нет. Хватит. Хватит.

Я перестала смотреть в окна. Я знаю, что увижу, каждую черточку знаю, каждое пятнышко знаю, каждую колдобину, и в снегу, и без снега, и когда туман. Это как плакаты в некоторых комнатах, они тоже никогда не меняются, сколько ни смотри.

А сегодня эта назойливая мысль не дает мне покоя, зудит, бьется в висок, сжимает голову болевым обручем. Мне больно думать. Голова пылает и кружится. Что со мной? Что со мной опять? Откуда снова этот воющий скрипичный оркестр у меня в голове? Прекрати! Прекрати немедленно!

Коридор качнулся в одну сторону, в другую, я пробрела еще пару шагов и ухватила за грязный облупленный подоконник. Пришлось закрыть глаза – слишком уж белым был снег за окном.

Дышать было жарко, губы высохли и потрескались, а по спине гулял озноб. Все-таки – зима. Ледяное стекло, подрагивающее под ударами ветра, студило горячий лоб и таяло каплями то ли воды, то ли пота.

Стало немного легче. Прекратили гудеть скрипки, ушла назойливая мысль. Коридор больше не качался. Только дыхание, дыхание очень громкое, невыносимо.

Я открыла глаза и тупо уставилась во двор. У стены, в двух метрах от кучи ржавой арматуры стояла фигура. Глупости. Не может быть. Еще одна каверза. Или бред, что вероятнее. Здесь никого нет. Кроме меня, в Здании никого нет. Никого.

Никого. Никого. Никого!

НИКОГО!!!

А он был.

Мне показалось, что стены вокруг рушатся, но нет, просто до меня наконец-то дошло. Он стоял у стены, ворошил носком ботинка кучу хлама. Потом повернулся к стене, раскинул руки, словно хотел обнять ее. Он был живой, чуть-чуть прихрамывал, с длинными спутанными волосами, в драной куртке, виднеющейся сквозь прорехи старого одеяла. Ему, наверное, тоже было очень холодно. Я не видела его лица, но я хорошо видела его руки, очень знакомые, дающие страх и надежду. Что-то зашевелилось в недрах моей несуществующей памяти – руки, руки, темный коридор, кислый запах, паутина, много паутины. Руки, руки, большие, крепкие ладони, все в порезах и царапинах, грязные, с обломанными ногтями, в ожогах. Память, что же ты делаешь со мной?!!

Руки, руки, знакомые руки, дверь, коридор, Здание, господи, да что же это такое?!!

– Забери меня-а-а-а-а!!!! Забери меня отсюда!!!!!!!

Я была на первом этаже. Здание, ну, что же ты, а?! Ну, как же это ты так?! Расслабилось! Успокоилось! Погань!

Он не слышал меня. Я колотила руками в стекло, ставшее вдруг монолитным, билась об него, как, наверное, бился когда-то давно голубь. Я просила его, умоляла: обернись,

забери меня отсюда, ты же можешь, ты все можешь, я знаю, я верю, только обернись, послушай, забери меня, слышишь? Я больше не могу здесь, я не могу! Обернись, обернись, ну, обернись же! Послушай, послушай, тебе же тоже плохо, я здесь, я живая, обернись, послушай, я же здесь, я здесь, слышишь, я здесь! Я здесь!

Я кричала, срывая голос, до боли в глотке, я разбила в кровь кулаки и оставляла на стекле красные расплывчатые пятна, я боялась отойти от окна, потому что это был последний шанс. Только не упускать его из виду, только не отворачиваться ни на секунду, только не дать ему уйти. Если он уйдет, Здание раздавит меня, сведет с ума окончательно, оно не простит мне своего промаха. Что же делать, Господи, он не слышит меня, а ведь от моего отчаянного крика скоро обвалится небо. Он только мотнул один раз головой, словно назойливую муху отогнал. Ну, послушай же, обернись, неужели ты совсем не слышишь, не чувствуешь, что я здесь, что я тебя ЗНАЮ?!

Он повернулся и пошел куда-то вбок, за угол Здания.

Нет, только не так, это невозможно, только не так, нет, пожалуйста, подожди, куда же ты, я же здесь, здесь! НУ ЖЕ!

Многострадальное стекло не выдержало и с тоскливым звоном посыпалось вниз, в сугроб, выдавленное изнутри. Я ухватила пустоту, порезавшись об осколки, вскарабкалась на подоконник и спрыгнула.

– Детка, что с тобой? Врываешься, как сумасшедшая. Что-то случилось? Да на тебе лица нет! Сядь, посиди, отдышись. Хочешь молока? Еще горячее, я только вскипятила. Хочешь? А? Да ты меня не слушаешь? Что с тобой, милая? Что случилось?

Это бред. Я знаю, что это бред. Потому что иначе быть не может. Иначе было бы слишком просто. Наверное, я всего-навсего наконец-то сошла с ума. Это порождение большой фантазии, воспаленного мозга. Что случилось со мной? Такие четкие линии, страшно. Страшно и больно. Хочется плакать. Что-то происходило совсем недавно, всего несколько секунд назад... или целую вечность? Я не знаю. Только вижу, слышу, чувствую, не верю и не понимаю. Это бред. Бред.

– Ну, что же ты молчишь? Тебя кто-то обидел? Расскажи мне все. Ну вот, обидели мне девочку. Расскажи, тебе станет легче. Расскажи. Я же вижу, что-то случилось. Нельзя быть такой замкнутой. Разве тебе не нужен совет? Не молчи, пожалуйста.

Она не существует. Ничего этого не существует. Я сошла с ума. Просто сошла с ума. Сломалась. Радуйся, радуйся. Тебе этого хотелось, ведь так? И что теперь? Я ведь знаю, что ничего этого не существует. Ни этой кухни, ни стола со скатертью, ни корзины с яблоками, ни женщины у плиты, ни куклы на подоконнике. Кукла... Хороши шуточки. Обхохочешься. Ничего этого не существует. Даже табуретки, на которой я сижу, тоже не существует. Это все бред. Бред. Бред.

– Бедная моя. Ты устала, наверное. Выпей молока. Ты так похудела... От лица одни глаза остались. Ты чего-то испугалась? Скажи мне, не замыкайся. Ты же знаешь, я хочу тебе только добра, я всегда готова тебе помочь.

Нет, нет. Неправда. Бред.

– Я за тебя так беспокоюсь. У тебя слишком усталый вид. Отдыхай побольше.

Это бред. Бред!

– **Все-таки выпей молока. Оно такое полезное.**
БРЕД!

– **Ну, давай. Держи чашку. Пока не остыло. Может, ты хочешь чего-нибудь еще?**
– Я хочу яблоко.

Полегчало. Хорошо, я приму это сумасшествие. Поиграем в твою игру. Мне не трудно. Мне все равно. Мне плевать. Вот она стоит у плиты, протягивает мне чашку с молоком и не смотрит в глаза. Я не хочу молока. Давай – я буду хотеть яблоко... и куклу. Играть, так играть. Будет забавно.

– Я хочу яблоко.
– **На улице холодно. У тебя вон аж губы синие. А молоко горячее. Выпей лучше молока, согреешься. Яблоки, наверное, совсем промерзли. Выпей лучше молока, оно полезнее. Правда.**
– Я хочу яблоко.
– **Но они же еще совсем не спелые, твердые. Наверное, кислые, как лимон. Что за странная прихоть? У тебя определенно что-то случилось. Ведь так? Не смотри на меня, как сын. У тебя неприятности? Ну, давай. Выпей молока и расскажи мне все.**

Она не смотрит мне в глаза, все время поворачивается боком, я даже не могу сказать, какое у нее лицо. А голос – голос тусклый, принужденный. Она натужно-ласкова, насильно-заботлива. И это молоко в чашке, от которого вместе с паром и теплом исходит тонюсенький, еле слышный запах плесени. Здесь что-то не так. Хотя... Да что это я, действительно, – здесь все не так, от огня газовой конфорки до куклы на подоконнике. Кукла. Да, кукла. Тупо-удивленное застывшее выражение румяного маленького лица. Светлые локоны, голубые глаза, пухлые губы. Кукла. Кукла... Да, кукла. Я сказала:

– Ей, наверное, холодно на подоконнике.

Все произошло одновременно. Я встала на ноги и шагнула к подоконнику, опрокинув чашку с ненастоящим молоком. Она еще падала на пол, когда одной рукой я коснулась яблок, сделанных из папье-маше, а другой взяла куклу за руку. Кукла качнулась и рассыпалась трухой между моими пальцами, осталась только голова, изъеденная жуками, а в горке опилок копошились белые толстые личинки. Меня начало мутить, закружилась голова, в спину дохнуло холодом. Я ухватила за трубу отопления и обернулась. Пол под ногами таял и качался зыбким маревом. Пять секунд. Я посмотрела в лицо женщины. Глаза у нее были, как у вареной рыбы. Я знала ее. Я помнила ее. Я крикнула:

– Все равно! Все равно! Я выросла!

А она в отчаянной злобе тянула ко мне руки и принимала свой привычный облик – холодную смесь темноты, паутины и тумана. Короткий вой – и все.

Я стояла на карнизе шестнадцатого этажа, держась за ржавую водосточную трубу. Ветер трепал волосы, тянул за одежду вниз. Задохнувшись высотой, вцепилась в раму окна, перебралась в коридор. Ноги дрожали. За окном шел снег.

Я не нашла его.

* * *

Хороводы, хороводы, бесконечные хороводы. Болят руки, ноги, глаза болят, болит память, как открытая рана, в которую ткнули пальцем. За что ты мне? Ты, как любопытный злой ребенок, колешь меня прутиком страха и радуешься, когда я из последних сил дергаюсь. Так нельзя. Так нечестно. Я не твоя собственность. У меня мало чего осталось, но

кое-что все-таки есть. Мысли есть, сны есть, боль. Очень много боли. Чего ты хочешь от меня? Чтоб я тебя боялась? Так я не тебя боюсь, не твоих каверз, милое, я себя боюсь, сломаться я боюсь, ясно?

Чтоб мне плохо было? Мне плохо – а что дальше? Дальше что? Мне плохо, и так уже не один день, все, как по схеме. Даже уже неинтересно. Как это скучно – предугадывать боль. Я ведь все уже знаю о тебе. Знаю каждый твой механизм, как, что и когда произойдет, и что будет потом. Знаю, больше не переключаюсь с ненависти на страх, не обрываю хриплым криком кошмары. Мне страшно... Неужели тебе все это не надоело? Помнишь – у нас с тобой всякое бывало: и будни, и праздники, и победы мои глупые временные – много чего... А сейчас... Посмотри, ведь от меня почти ничего не осталось – выжженная пустыня, и та живет во сто раз. А во мне больше ничего нет, понимаешь, ничего. Даже пустыни. Раньше была, а теперь и ее нет. Вот так.

Не знаю, наверное, это очень весело – подsunуть голодному человеку испорченные консервы, а потом наблюдать, как он корчится на полу и хватается ртом сухой воздух, пережидая спазмы. Но мне почему-то смешно не было. А еще – помнишь – во сне кто-то спрашивал: «Как тебя зовут? Скажи, как тебя зовут? Как тебя зовут?» А я не могла ответить и наутро плакала. Слезы наверняка тоже очень забавны, но это опять вне моего понимания. Теперь я знаю – нет у меня имени никакого, нет – и все, и плакать тут нечего. Но ты, ты – тебе ведь уже тогда все было известно. И что – хорошо тебе? Не верю.

А помнишь, я разговаривала сама с собой, помнишь? Ты задыхалось от злобы и беспомощности, издевалось как-то особенно тщательно, я не могла понять, почему. А теперь понимаю. Тебе тоже страшно одному, да? Если бы я тогда начала беседовать с тобой, было бы легче, правда? Да. Но только теперь мне все равно. Я сильнее тебя. Я живая. А ты всего лишь делаешь вид. Знаешь, зачем ты включаешь свет в окнах других корпусов, зачем не пускаешь меня туда, зачем дразнишь? Знаешь? Да ты посмотри на себя, ты ведь никто, ничто, жалкая пустая бесполой конструкция без сути, не одно и не другое, а что-то среднее, без мыслей, без памяти, даже без названия. Ты – сплошная имитация жизни. Все эти твои окна, краны, вода, газеты, ветер, мусор, мелкие глупые пакости – попытка имитировать жизнь. Ты ведь даже не Дом, а так – серединка на половинку, Здание, торжественное исключение из правила. Ты пьешь мои мысли, надежды, страхи, отчаяние, боль – пьешь, а использовать не умеешь. Знаешь, почему ты мне умереть не дало? Ты без меня не можешь, вот что. Тебе без меня страшно. Ты любить не умеешь, а хочешь, чтобы тебя любили, заставить пытаешься. Глупость какая, Бог ты мой, какая глупость.

Я устала от тебя.

Я все шла, шла, шла к чему-то сквозь мастерски сужаемое пространство...

Сначала к неопределенному, такому желанному «там», потом к воротам, потом поскромнела до входной двери, потом искала первый этаж, потом сузилась до скользкого, верткого слова «хотя бы»... А все-таки шла. Тебе, наверное, очень хотелось, чтобы мы шли вместе, правда? Мне действительно было очень тяжело одной. Но только так не бывает. Нет Нас. Нет Нас, понимаешь? Я есть, Ты есть, а Нас – нет. И не будет никогда. И вообще, в этих стенах слово Мы существовать не может. Потому что я живая, а ты пользуешься. Поэтому я шла мимо тебя, сквозь тебя – как угодно, но не с тобой. Только не с тобой.

И неправда, что я теперь нигде и ни с чем. Вот к усталости пришла, к равнодушию. Так можно быть всегда, вечно. Точно, теперь я никогда не умру. Потому что, чтобы умереть, нужно родиться и жить, а я просто существую, без начала и, видимо, без конца. Как будто это не я, а кто-то другой сказал – так складно и умно получилось, так язвительно. Мне тебя не жалко. И себя мне уже тоже не жалко.

Я устала от тебя.

Прости, не могу иначе.

ДОМ ПОЛНОЛУНИЯ

Часть третья

Книга видений

**Но ты заходи в мой Дом за углом
Этого дня.
Мы с тобой посидим за лунным столом
И помянем меня.**

Зимовье зверей.

Сегодня зима, снова зима. Кто знает, которая это зима. Еще день, и я смотрю из окна своей комнаты во двор. С белесого неба без устали валится колкая крупа, ее подхватывает ветром и швыряет на стены Дома. Земля уже укрыта ею, вечные язвы и неухоженность теперь скрыты скромным холодным саваном. Не видно куч мусора, ржавых бочек, поломанных ящиков. Только ветер гонит по двору маленькие снежные вихри. Подумать только, а ведь всего пару дней назад было тепло, даже жарко. А теперь я стою, прижимаюсь лицом к стеклу и смотрю, как Дом купается во вьюге. Надо бы что-то сделать, куда-то пойти, затеять новую жизнь или хотя бы набрать дров для костра, но я не хочу. Я, не отрываясь, смотрю на холодный танец снега. Пойду сегодня во двор, буду там бродить среди леса ржавой арматуры и битых кирпичей, а за мной будет оставаться тонкая цепочка следов. Правый-левый, правый-левый. Снежинки облепят волосы и застынут на них серебряным шлемом.

Я буду жить дальше и дальше. Что-то я забыл. Что-то очень важное я должен сделать или вспомнить. Это как будто забыл закрыть кран или дверь, или закрыл, но забыл, как это было, и теперь ходишь где-то далеко, и время от времени тебя что-то донимает, и сам не знаешь, что. А потом вдруг, как молния: кран! дверь! Вот так же и со мной, но только сильнее, и я все никак не могу вспомнить, что же я должен сделать. Знаю только, что это случится вот-вот, и никак нельзя опоздать.

Я, наконец, оторвался от оконного стекла и прошелся по комнате. Меня погубит не Дом. Меня погубит скука. Это естественный исход любого долгого одиночества и страха. Скука. Каждый день по сто тысяч раз из угла в угол и по лестницам. Этажи, этажи, коридоры и комнаты. Я привык ко всему, к чему нельзя привыкнуть, и вот пришла скука, а с ней пришла зима. Я знаю, она будет долгой, длиннее, чем раньше. На стене похрипывает радиоточка, скоро она начнет петь. Я поднял с пола топор, грациозный и тонкий. Это одна из самых красивых вещей в Доме. Диву даюсь, откуда на обдолбанном пожарном щите взялась такая красотища. Мой топор похож на балерину. У него длинная, чуть изогнутая рукоятка, тонкое, черное, злое лезвие, вечно холодное и безупречное. Мой топор. Тебе немного не повезло с хозяином. Иногда мне хочется стать таким, как ты – острым, неумолимым и решительным, но нет, мы, наверное, просто идеально дополняем друг друга. Я повертел топор в руках и вышел из комнаты. Коридор холодный и белесый, как небо, голодными ртами смотрят двери, а мимо них иду я. Трещины в известке, ветер намел на подоконнике сугробик, по краям он уже потек лужей.

Это так просто – толкнуть входную дверь и выйти наружу. Но на этом все заканчивается. Ну что ж, никто не обещал, что у этой истории будет хороший конец. Как там говорил Собеседник? Что-то я его давно не видел.

Стена не меняется никогда, ни зимой, ни гипотетическим летом. А чего ей меняться – она огромная, монолитная, гладкая... Иногда мне кажется, что весь мир состоит только из нее... Нет, что-то мне сегодня даже придумывается вяло. Скучно. Я раскинул руки, как будто хотел обнять стену, ветер трепал старое одеяло, пробираясь под одежду, и ощутимо щипал за бока. Вот он я, смотри – ничего нет у меня за душой, и души тоже нет, смешно...

Не могу. Свербит затылок, как будто кто-то устался в спину и смотрит, не отрываясь. Обычные штучки. Первый раз, что ли? Так вот, Стена. Из-за нее приходит туман, за ней, наверное, огромная паровая машина, в которой он прячется до поры до времени. А потом переливается во двор. А может, Дом – это огромный стакан, из которого кто-то пьет лекарство...

Да ну, блин, что такое сегодня! Пришлось даже головой помотать, чтобы ушел настырный звон, а еще тихий стук, как будто муха об стекло бьется. К черту. К черту всех мух, не хочу, надоело. Постоял еще немного. Тревожно. Нет, не получают сегодня прогулки в снегу. Повернулся и пошел обратно. И вдруг – звон разбитого стекла. Повернулся резко, даже шея как-то жалобно хрустнула. Окно на первом этаже, как раз напротив того места, где я стоял, выбито, по всей видимости, изнутри. Странно, ветер бесится снаружи – неужели в коридорах такой сквозняк, что окна вылетают? Я подошел к осколкам, которые поспешно заметала белая крупа, пошевелил их носком ботинка. Стекло как стекло. Вот только... Что это – красное – кровь?

Нет, хватит с меня. Хватит.

* * *

В круговерт сна, бессвязного и непонятного, ворвался шум воды. Еще в полудреме я расшвырял барахло, которым укрывался, и скатился на пол. Осмотрелся. Под потолком покачивалась тусклая лампочка на шнуре, которую я предусмотрительно зажег вечером, в окне была темнота, оттуда тянуло ледяным сквозняком. Мой этаж наполнен шумом воды. В который раз меня постиг невидимый ночной потоп. Это происходило уже бесчисленное количество раз, а я все не могу привыкнуть.

Я стоял у окна, смотрел, как растекается лужа, считал про себя вдохи-выдохи, чтобы немного успокоиться. Потом шум воды в коридоре начал стихать. Она уже не ревела и не бросалась на стены, сметая все на своем пути, а просто громко плескалась, перетекая из комнаты в комнату. Постепенно сквозь плеск я начал слышать вой ветра за окном. Да сегодня же метель, вон он как мечется. Еще через некоторое время в коридоре все стихло, и осталась только песня ветра. Тогда я подошел к двери и решительно дернул ее. Я знаю, что ничего нового в коридоре не найду, но выходить туда после каждого ночного потопа – это уже традиция, привычка, от которой мне трудно отказаться, да и не за чем.

Как я и предполагал, в коридоре было пусто и сухо. Вдалеке серело окно, за углом мигала лампа, изредка посылая оттуда снопы призрачного света. Тут краем глаза я заметил какое-то движение, резко обернулся. Внутри все оборвалось, и на секунду стало совершенно пусто. Под стеной, в нескольких шагах от моей комнаты, что-то было. Что-то серебристое, не очень большое, наверное, живое, потому что шевелилось. Оно дергалось и выгибалось, словно хотело прыгнуть всем телом, но не могло. Я оторопел, потом подошел ближе. Мокрое шлепанье сильного, ловкого тела, серый перелив плавников. На полу в коридоре билась довольно большая рыба, невесть как сюда попавшая. То есть очень даже как, ее водой сюда принесло. Она извивалась упорно и сильно, потом замирала на секунду, выгнувшись дугой, чтобы поймать немного воздуха, но ничего не выходило, и рыба снова начинала биться, негромко шлепая хвостом об пол. Определенно, долго ей так не протянуть.

В душевой, что возле моей комнаты, есть большая железная бочка, почти доверху заполненная водой. Одно время, когда Дом баловался отключением воды, я делал в этой бочке запас. Там и сейчас должно быть, причем вода не зацвела. Я подошел к рыбе и попытался ее схватить, но это было совсем не просто. Она была сильная, скользкая, легко вырывалась у меня из рук, а я боялся ей повредить. Потом рыба ослабла, стала биться тише и все чаще замирать, хватая воздух жабрами. Тут я ее и схватил. Она дернулась в ладонях, затихла, выгнувшись. Я бегом кинулся в душевую. Дверь заклинило, так что пришлось налечь на нее плечом. Бочка оказалась на месте, под дальней стеной, выложенной белым

кафелем. Рыба еще шевелилась и делала слабые попытки вырваться. Я опустил ее в бочку и разжал руки. Несколько секунд ее тело было неподвижным, а потом в него вернулась жизнь. Рыба шевельнула хвостом, сначала вяло, потом увереннее, описала небольшой круг, а потом плавно шевельнула плавниками и нырнула на дно бочки, видимо, отлеживаться и успокаиваться. В отблесках флуоресцентной лампы ее тело казалось серебряным. Ничего, – сказал я рыбе, – и это мы переживем. И пошел спать, потому что завтра – сложный день, есть нечего, и надо срочно где-то найти.

Вот так появился Вильям. Имя ему я придумал на следующий день, вернее, оно само придумалось, с ударением на последнем слоге. Вильям – ну и Вильям. Наутро, после недолгого сна, в котором меня преследовал шум воды и запертые двери, я проснулся разбитым, смутно припоминая, что же там такого произошло ночью. А потом вспомнил – ах, Вильям! И побежал смотреть, есть ли он на самом деле. В окна лился желтоватый дневной свет.

Вильям оказался настоящим. Он не развоплотился, не превратился в тряпку или мятую газету, не издох от удушья в тесной бочке. Он был живехонек, даже приободрился, плавал от дна к поверхности и, когда я подошел к бочке взглянуть на него, замер и сделал «бульк», как умеют делать только рыбы. При этом он как будто посмотрел на меня. Вильям меня узнал. Я помахал ему и коснулся воды пальцем. Ты у меня будешь Вильям, – сказал я ему, а Вильям снова поднялся к поверхности и описал круг почета.

Вильям оказался рыбой типа селедки, я не очень разбираюсь. Он прекрасно прижился в пресной мутной воде из-под крана. Вильям – на редкость красивая рыба, с чешуей, отблескивающей серебром, и мощными плавниками.

В тот день я нашел еды: консервов и сухарей. Притащил в комнату, варить что-нибудь мне стало лень, и я вскрыл банку консервов, а потом растер сухарь и понес его Вильяму. Селедки, вполне возможно, едят сухари, а если даже и не едят, все равно придется, потому что больше ничего нет. Вильям все съел, так что проблема с питанием тоже разрешилась.

Зима пришла надолго. Весь двор был завален снегом, каждый вечер за окнами начиналась метель. Холодно. По коридорам гуляет ледяной сквозняк, я кутаюсь в куртку, а иногда прихватываю с собой драное одеяло. Если просунуть в дырку посередине голову, то получается вполне сносное пончо. В нем можно выходить на улицу.

Теперь я часто сижу в душевой у бочки и смотрю, как Вильям выписывает круги, а завидев меня, делает «бульк». Я слушаю, как за стеной воет ветер, как он кидается на бетонную громаду Дома, а с ним – орда снежинок. В коридорах шуршит мятая бумага, хлопают двери, дребезжат оконные стекла, и мне кажется, что я убежал от всего этого на секунду. Я закутываюсь в одеяло поплотнее и смотрю, как в прозрачной глубине шевелит плавниками Вильям. Мы похожи – у каждого своя бочка и горсть крошек. Только вот мне не на кого смотреть из-под воды и пускать пузыри, и если меня вдруг выбросит на холодный цементный пол ночного коридора, где нечем дышать, никто меня спасать не кинется. Я сижу и смотрю на Вильяма. А иногда разговариваю с ним. За стеной надрывается ветер.

* * *

Тогда вечером я ходил по комнате из угла в угол, подходил к окну и подолгу стоял, прижавшись лбом к стеклу. Ветер поднялся еще днем, а к темноте усилился, выл и дребезжал стеклами. От окна веяло холодом. Что-то я забыл. Чего-то не сделал или не услышал. Не увидел. Что-то происходит сейчас в Доме именно из-за этого, я не могу объяснить, почему так. Вот уже несколько дней мне неспокойно. Дом продолжает свои шуточки, но даже здесь что-то не так. Я где-то ошибся, я знаю, и самое страшное, что уже ничего не поделаешь. Шевелится внутри меня какое-то существо, очень похожее на совесть. Что-то я пропустил, убил. А может, помог убить. Или помогаю сейчас.

А Дом как будто отвлекся от меня в ожидании чего-то большего и изредка подбрасывал

мне всякие каверзы, чтобы я не заскучал. Может быть, все дело в свете. Он кажется мне слишком ярким. Все звуки приблизились и стали невыносимо резкими. Я слышу, как в дальнем конце коридора падают капли в душевой, и, главное, я слышу ветер. Оказывается, он все время говорил со мной, только я не понимал. А сейчас почти понял. Он поет тысячей голосов. Это началось с приходом зимы. Вместе с зимой ко мне пришла тревога, почти новое чувство. Не тупое отчаяние повседневности, не ужас кошмарных снов, не безнадежность подвальных коридоров. Тревога. Странное беспокойство, скребущееся где-то в животе. Я зажигал везде свет, чтобы разогнать ночь, садился в угол и прижимал к груди топор, затравленно оглядываясь по сторонам.

Дом что-то затеял, я знаю. Все эти затихающие шаги, далекие шумы, танцы света и тьмы – неспроста они преследуют меня так настойчиво. Что-то приближается.

Мне не хотелось спать. Что-то искало меня, что-то притаилось в темных углах, вынюхивая мои следы, и теперь оно, кажется, нашло меня. Я еще не знаю, что, не знаю, есть ли оно на самом деле. Просто мне ужасно беспокойно, а по ночам страшно смотреть в окно. Кажется, что кто-то стоит снаружи и вглядывается мне в глаза. Кто-то, кто-то у дверей.

За спиной у меня раздался кашель. Появился Собеседник, полупрозрачный, но все же ощутимо в ватнике.

– Боишься? – спросил он.

– Мне беспокойно.

– Боишься.

– Что-то будет. Что-то очень плохое.

– Ну и что?

– Страшно. Это что-то необычное. Что-то совсем новое.

– Ну и что?

– Оно совсем рядом. Я чувствую, оно сильнее меня.

– Ну и что?

– Я боюсь! Просто боюсь, боюсь, боюсь! Ну, разве непонятно? – я прошелся по комнате, помахал перед ним руками. – Оно произойдет, неизбежно.

– Теперь точно произойдет.

– Знаешь, ну, как-то... Мне иногда хочется умереть раз и навсегда. Я не могу вот так, каждый день.

– Чтобы умереть, надо сначала родиться, а потом жить. А ты существуешь – без начала и, видимо, без конца. Так что толку болтать о смерти? Сам-то ты в своих проблемах разобраться не можешь, вот и ждешь, чтобы кто-то пришел и задушил тебя во сне.

– Почему во сне?

– Сам догадайся.

Собеседник направился к двери и, уже выходя, бросил через плечо:

– Хочешь свободы – спи побольше.

Но это было тогда. А сегодня, когда я вернулся после долгого похода на другие этажи, Собеседник поджидал меня в комнате, расхаживая из угла в угол и поднося поминутно к лицу сложенные в благословении пальцы. Как будто курил невидимую сигарету. Он взглянул на меня исподлобья, сел на подоконник и спросил:

– Как ты мог такое допустить? Зачем, ну, зачем тебе это, ты же сам не знаешь, с чем ты связался, а туда же.

– Куда? При чем тут? Ты что, перегрелся? Так пойди во двор, посиди, там метель, живо остынешь. Чего разорался?

Я снял с плеча пустой рюкзак и швырнул его под кровать, прислонил топор к стене. Настроение паршивое, а тут еще он раскудахтался.

– Это я тебя должен спросить, чего. Это у тебя надо узнать, какого лешего ты сидишь, руки в бока уперев, когда такое делается.

Я молчал.

– Ты же сам говорил, ты же почти все понял, так почему, почему ты ничего не сделал,

чтобы этого не было?!

– Что я понял? Чего не было? Чего тебе надо, в конце концов? У меня, между прочим, голова болит, трудный у меня, понимаешь, день был! И когда всякие психи припираются и начинают орать мне в ухо, мне это совсем не нравится.

В былое время Собеседник оскорбился бы ужасно. Он наговорил бы гадостей и исчез надолго. Но сейчас он как будто не слышал. Он слез с подоконника, снова стал расхаживать по комнате, размахивая руками и тихо бормоча. Изредка он выкрикивал «Нет, ну...», «Как же так...» и неизменное «Идиот...». Потом остановился и заорал:

– Мало тебе? Мало, да? Тебе всего этого мало? Ну, получи. Учти, я тебе больше помогать не буду. Все, конец моему терпению. С тобой – это как с бомбой, себе дороже.

Меня разобрал смех. Злой такой смех, нехороший. Я устал.

– А когда ты мне помогал? Когда ты мне помогал, миленький? Скажи! Было такое, было, а?

Собеседник застыл, а я продолжал, с трудом сдерживаясь:

– Было от тебя что-то, кроме неприятностей и умничанья твоего поганого? Мне было плохо – ты смеялся, мне было страшно – а тебе все равно, мне было одиноко – а тебе забавно. Ты врвался в мою жизнь, называл ее – как там? – а, жалким прозябанием, призывал ни во что не верить, хотя я даже в себя не верил, ничего не любить, хотя любить мне было нечего... А теперь все! Хана! Мне теперь не плохо. Мне теперь не хорошо. Мне теперь никак. Да кем ты хотел быть? Богом? Пророком? Я думал, ты и то, и другое. А сейчас я ничего не думаю, я ничего больше не знаю, не хочу знать, я устал, мне просто плевать. Да клал я на тебя, на истину твою, на Дом, да на все! Я живу, потому что привык, это мое тело живет, моя голова, мои мысли, они думать привыкли...

Я смеялся. Вот ведь как все просто выходит. Неужели это я?

– А меня нет! Нет меня, и, что самое смешное, тебя ведь тоже нет... Раньше мне от этого страшно становилось, а теперь просто плевать. Все – скука, плюс-минус мелкие неприятности. Я, наверное, давно умер, просто не догадывался. Я умер, и ты умер тоже...

Смех разобрал меня окончательно.

– Правда... Ложь... Свобода... Все мур... Какая свобода, от чего? От себя, от прошлого? От будущего? Так от судьбы все равно не убежишь. Мне просто плевать, мне теперь все равно, что случится. Раньше было по-другому, а теперь все равно.

Собеседник присел на корточки и заглянул мне в лицо.

– А говоришь – не понял. Только если б все это было так просто. Ты прости меня, только это наша с тобой последняя встреча. Мне пора. Тесно здесь. То, что идет – оно и меня сильнее тоже, оно всего сильнее. Просто я тебе совет хочу дать – берегись. Ладно? Ты ведь не все учел. Скоро оно будет здесь. А она будет еще раньше. Она уже и так почти здесь.

Я опешил. Таким он не был никогда. Он не смеялся, не язвил, не поучал. Он был печален. Он был напуган. Он устал. Он искал меня, а нашел прежнего себя. Мне было жаль его.

– Кто она?

– Она... Она. Сам узнаешь. Я бы посоветовал тебе бежать, но только это без толку. Она повелительница пыли.

– Да брось ты. Сколько пережили – и теперь продержимся.

– Ты же сам знаешь – это не так. Сам прекрасно знаешь. Пора мне. Тебе – удачи. Счастья тебе не видать, а вот удача пригодится очень. Ну, все.

Он поднялся и шагнул к двери, высокий, худощавый, чуть сутулый и печальный. Отворил дверь, и коридор встретил его серо-голубым перемигиванием ламп.

– Прощай.

Я улегся на кровать, потушил свет и уставился в потолок. Смеяться больше не хотелось.

Страшная сегодня ночь. Страшная и беспокойная. Метель, наконец, утихла, потеплело, и на Дом пал туман, густой и холодный. Мертвенный свет луны делал его живым. Туман утопил Дом, и двор, и Стену, плескал в окно моей комнаты, сдерживаемый тонкой пластинкой стекла. Я не хочу пускать туман, потому что он – бесконечно чужой.

Допоздна я сидел в душевой, с Вильямом. Он что-то беспокоился, мотался туда-сюда, всплывал к поверхности, точно хотел мне что-то сказать, а я крошил ему сухарь. Теперь мы совсем одни остались, я и Вильям. Собеседник тогда говорил правду. Он теперь больше не придет, это наверняка. Просто что-то вдруг исчезло, незаметно переменялось, и хотя стены, пол и потолок остались прежними, я знаю – Собеседника больше нет. Тоскливо.

– Ну, что ты мечешься, – сказал я Вильяму. – Брось. Все будет, как раньше, это просто туман, ты, должно быть, еще не привык. Да и как к этому привыкнуть, с другой стороны. Брось печалиться, продержимся.

Вильям всплыл и булькнул, как это умел делать только он. Определенно, он самая умная рыба. Я помахал ему напоследок и пошел спать. Не потому, что хотелось, а по привычке. В коридоре меня встретила тишина, а в комнате – белесое волнующееся море за окном. Я с опаской покосился на него и принялся укладываться. Свет я оставил зажженным.

Вот тут-то и начались неприятности. Сначала что-то произошло с напряжением. Лампочка замигала, по комнате заматались призраки-тени. Я несколько раз дернул провод, поскольку ничего лучшего придумать не смог, но от этого мало что переменялось. Потом свет стал гаснуть, и комнату заполонила ночь. Стало видно, как по сероватому прямоугольнику окна шарят щупальца тумана. Пока стекло их сдерживало, но я чувствовал, как все призрачнее становится граница между мной и ночным маревом, и теперь ему достаточно лишь небольшого усилия, а то и просто желания, чтобы войти.

Я не хочу его пускать, не хочу, но моя воля разбивается вдребезги о тонкое и холодное оконное стекло, потому что сейчас моя судьба целиком зависит от этой прозрачной стены. Сколько она еще продержится под натиском тумана и ночи, таких чужих, таких холодных, таких сильных сегодня. Нет, надо собраться. Надо пережить эту ночь, надо, надо. Но что это за муть у меня в голове? Глаза закрываются, и только это слово – надо – стучит в голове, а что надо – не помню. Почти не помню. Будто бы я что-то должен сделать, кого-то не пустить... А кого... И зачем... И куда? Думать сегодня тяжело, надо отдохнуть немного, чуть-чуть совсем. А потом снова...

Я вздрогнул и открыл глаза. Проснулся все-таки, и, кажется, вовремя проснулся. В окно, теперь чуть приоткрытое, лился туман. Он затекал лениво и тяжело, струился на пол, распадаясь на хлопья. Под окном уже образовалось небольшое облако, клубившееся серым бесформенным пятном. Оно было очевидно живым, все старалось принять форму. Выбрасывало во все стороны прозрачные щупальца, расплзалось вширь омерзительным шевелящимся осьминогом и с каждой минутой становилось все сильнее и увереннее. Вот оно разбухло, и стало ясно, что это – сжавшийся в тугой комок зверь, беспощадный, готовый броситься, и...

Я открыл глаза. Приснится же такое... Отдышался, поморгал, взглянул на окно – нет, все тихо. Даже туман куда-то исчез. В комнате ничего не изменилось. Ерунда. Все ерунда. Совсем я с ума сошел, уже чертей по углам вижу. Я заворочался, отвернулся от окна и стал устраиваться поудобнее. Спать, спать, спать... Сейчас...

По лицу мазнуло сквозняком, как будто чьи-то холодные липкие пальцы прикоснулись ко мне. Я бросил возиться в куче барахла и повернулся к окну. Оно было открыто. Настежь. За окном была сплошная стена тумана, непроглядная, необъятная, непостижимая. Туман даже не лился в комнату, он в нее заходил. Из белесой мути возникали неясные тени и струились в окно, толпились на подоконнике, некоторые уже вошли. Кажется, холодный и влажный воздух комнаты наполнился перешептыванием, хихиканьем и бормотаньем. Кто-то стоял у меня за спиной, невидимый, как паутина, и говорил мне на ухо страшные вещи,

которые мне не хотелось понимать, но я понимал. Я рванулся, но меня схватили тысячи рук, сил хватило только на крик, слабеющий и...

Ух, да что ж это такое. Я проснулся от собственного крика – даже не крика, а рычания, хрипящего выдоха сквозь сжатые зубы. Ничего. В окно смотрела ночь – черная, непрозрачная, перечеркнутая прожекторами. Где-то капала вода. Лампочка не горела. Я сел на кровати, помотал головой, прогоняя остатки кошмара. Даже дышать стало легче. Приснится же такое...

Из-под двери в комнату тек туман, словно струйки дыма, но он почему-то не пластался по полу, а клубясь подымался, сплетаясь в зыбкие переменчивые кружева. Я обернулся. Окно было распахнуто настежь, туман лился в комнату, ничего не боясь. Это была его ночь.

Я вскочил с кровати. Струйки тумана, лившегося из-под двери, заплелись у меня в ногах, побежали выше. И я почувствовал, до чего же он холодный. Он обвился вокруг меня, обнимая, убаюкивая, провожая в долгий глубокий сон, и на секунду мне показалось, что в белом мареве я увидел кого-то – неясный силуэт, худая изломанная фигура, кто-то стоял, прислонившись спиной к косяку, и курил длинную сигарету, но огня не было, только дым, густой-густой, даже и не дым, а туман, падал с кончика сигареты, серый и влажный. И тут я вспомнил – шорохи, стук, голоса, голоса, голоса, разрывающие голову голоса, шаги, вспышки света, пыль, тысячи пылинок, танцующих в луче света. Туманная фигура шагнула ко мне, в лицо пахло застоявшимся подвальным холодом, и я вырвался из вяжущего туманного хоровода, проскользнул мимо нее, схватился за ручку двери. Не возьмешь ты меня. Рванул дверь на себя, кинулся вперед и остановился, уткнувшись в свежую кирпичную кладку. На месте вчерашнего дверного проема возвышалась глухая стена, сочившаяся жирными каплями цемента. Я бился о стену, пока не почувствовал плечом прикосновение холодных пальцев. И тогда я закричал...

Темнота. Спасительная темнота. Просто темнота. За окнами волнуется туман. Дверь закрыта, окно тоже. Ничего. Это просто кошмар. Я закрыл глаза. Надо постараться уснуть.

Запах сигарет. Я уже почти провалился в сон, когда почувствовал его, а вместе с ним пришел ужас, но ненадолго. Запах сигарет, дым, а может быть, туман, струящийся, сплетающийся в кольца, словно ловкие белые змеи. Я открыл глаза.

Комната тонула в тумане. Я не заметил, когда он заполнил ее доверху. Теперь не было ничего: ни пола, ни потолка, ни стен, ни окна. Я лежал на дне туманного моря. Куда-то пропал страх. Теперь мне было все равно. Я лежал, убаюканный холодными струями, а в голове у меня плескался сигаретный дым. Когда это, наконец, случилось, оказалось совсем не страшно. Все равно. Я бессилён что-либо изменить, я не могу двигаться. Даже думать не могу. Все как-то растекается, проскальзывает между пальцами, и не остается ничего, кроме тумана и сигаретного дыма.

Когда чьи-то руки коснулись меня, я уже не испугался. Они были холодными и безжалостными, но нежными, бесконечно нежными и желанными. Я не сопротивлялся – не мог, да уже и не хотел. Нежность, ледяная, чужая, выворачивающая наизнанку, заставляющая стонать и извиваться, не то от боли, не то от удовольствия, поглотила меня. И нет уже тела, осталась только эта сладкая боль, какое-то распирающее, щекочущее чувство, которое вот-вот разорвет меня изнутри. Я тонул в нем, захлебывался и хотел, изо всех сил хотел, чтобы это прекратилось немедленно, и в тоже время продолжалось вечно. Я тонул в боли и наслаждении, а перед глазами, бессильными закрыться, полоскался туман, и вот на самом краю, перед тем, как упасть в неизмеримую, зовущую, бесконечно сладкую и смертоносную бездну, я вспомнил – и закричал, и туман стал рваться, и среди его ключев я разглядел...

Одним прыжком соскочил с кровати, затравленно оглядываясь. Пот стекал по лбу струйками, сердце колотилось. Нашупал топор, прижал к груди. Так спокойнее. Окно было закрыто, из щели между рамой и подоконником торчали тряпки, которые я туда предусмотрительно напихал, спасаясь от холода. Дверь тоже была закрыта. За окнами омерзительно желтело утро. Голова болела, как с сурового похмелья, ноги слегка

подкашивались. Приснится же такое. Я с опаской потянул носом воздух. Пахло плесенью. Никакого дыма. Приснится же. Надо умыться.

Я вышел из комнаты и, пошатываясь, побрел в душевую. Дверь туда была чуть приоткрыта, но я не обратил внимания. Внутри меня встретил запах. Сигаретный дым – запах был настолько силен, будто здесь курили всю ночь напролет. Я стоял, оцепенев. Я не хочу понимать того, что я сейчас увидел. Я не хочу этого видеть, пусть это будет еще один кошмарный сон, пусть я сейчас проснусь, пусть, пусть... Я не могу это видеть...

На дальней кафельной стене, той, под которой стоит бочка, были слова. Крупные корявые буквы, выведенные чем-то бурым, сочащимся – ДОРОГОЙ МОЙ. Вместо точки после последнего слова – вбитый в стену ржавый гвоздь, а на нем насажено растерзанное, раздавленное, впечатанное в кафель тельце Вильяма, и от него по этому белому кафелю – паутинка засохших бурых струек. Кровь.

Я скорчился на полу. Я плакал, впервые за много, много дней, поверженный, отчаявшийся, опустевший. Она прошла мимо меня, невидимая, только в лицо пахнуло холодом и подвалом, и там, где она ступала, из пустоты возникали облачка то ли пыли, то ли тумана. Она вышла в коридор. Теперь она уйдет, я знаю, уйдет, чтобы вернуться, когда ей вздумается, а я снова буду бессилен хоть что-нибудь изменить. Я валялся на каменном полу и плакал.

* * *

– Ты меня не возьмешь, – сказал я и поднялся с пола. Все болело, но это уже безразлично. – Ты меня не возьмешь, – и вышел из душевой, оставляя за спиной Вильяма, распятого на стене. Теперь все просто. Все так просто. Я больше не буду бояться, больше не буду прятаться. Я устал умирать каждый день.

Я шел по коридору, а Дом встречал меня болтовней радиоточек и шорохом газет. Ничего. Теперь мне уже ничего не жалко, да и что я, в сущности, оставляю? Бесконечное одиночество дней, давящий страх, само существо Дома – я не буду о вас жалеть. Я не буду вас вспоминать. У меня и так нет памяти – велика ли потеря, если я забуду и это. А вечных мук все равно нет – отмеренный мне ад я пережил здесь.

Выбрался на крышу. Там был ветер, холодный и сильный, он свистел, дребезжа прутьями антенн. Теперь мне все равно. Я старался ступать твердо, но ноги все равно подкашивались. Десять шагов до края были вечностью, и каждую секунду этой вечности я хватался за свое прошлое, пытался вспомнить, что же может меня удержать здесь, на осклизлом краю крыши, делать очередной шаг было мучительно тяжело. Ничего. Вспоминались коридоры, подвалы, Черная Свадьба. Мне даже прощаться не с чем. Ну и пусть. Кто-то ведь должен упасть. Значит, по закону равновесия, кто-то где-то будет жить долго и счастливо. Я балансировал на самом краю, и в лицо мне дул холодный зимний ветер. Скоро будет снег. Кто знает, может быть, перед самой землей я научусь летать. Никто меня здесь и не вспомнит. Значит, все счета оплачены. Все, Дом, я выхожу из игры. Пусто мне, пусто. Как пусто. Хоть бы я тебя ненавидел, легче было бы. А так ведь ничего нет. Совсем нет. Я терял себя по частям и вот, кажется, совсем растерял.

Последний шаг получился сам собой. Я хотел встать поудобнее, оступился и полетел. Все получилось так, как я представлял. Я не закрывал глаз. Все-таки это очень страшно – видеть гибель своего тела. Я падал, мимо проносились этажи, серые стены Дома, в лицо хлестал ветер, и я закричал, потому что очень страшно – и больше ничего. Не жалко, но страшно, и глупая, сумасшедшая мысль – а вдруг все обойдется? Вдруг я удачно упаду, и все обойдется?

В глаза мне летела земля, увеличиваясь с каждым мгновением, заполняя собой все, и я разглядел ржавые штыри арматуры, готовые встретить меня. Сейчас все закончится. Перед самой землей я закрыл глаза.

Удар. Потом темнота и боль.

Темнота затягивалась, боль не проходила, и вдруг я понял, что могу открыть глаза, более того, я ощущаю свое тело. Оно болит, но я им вполне владею. Я полежал еще немного, потом разлепил веки. Тусклый электрический свет отражался от кафельных стен.

Я лежал лицом вниз на скользком грязном полу душевой. Из разбитого носа текла лужица крови. Болело ушибленное колено. Пахло помоями. Я сел на пол, обернулся. За моей спиной стоял унитаз, а на его краю четко отпечатались следы моих грязных подошв. Оттуда, значит, я прыгал. Смешно.

* * *

Я вернулся к себе. Дом встретил мое возвращение равнодушным сквозняком и гулким эхом. Я возвращаюсь к себе, чтобы все продолжить. Все будет, как прежде. Я пинал носком ботинка шелестящие газеты, слушал шумы и шорохи. Кажется, теперь это навечно. Он меня никогда не отпустит, надо было раньше догадаться.

По дороге назад я почувствовал ЭТО и понял – что-то все же переменялось. Толком не могу объяснить, что. Неясное предчувствие. Непонятная дрожь. Что-то приближалось, как огромная волна, неспешно и неотвратно. Мне стало не по себе. Что же это за сила, которая заставляет вздрогнуть даже бетонную громадину стен – ведь Дом дрожит, я это чувствую. Не могу сказать, что я испугался. Просто понял – пора. Пока неизвестно, куда, но то, что приближается, идет именно ко мне. Оно меня знает. Я его – тоже, но пока не могу вспомнить.

Я вернулся в комнату. Теперь, кажется, пришла пора распрощаться по-настоящему. Собираюсь я недолго. Как-то сразу понял, что все мое барахло мне больше не пригодится. Огляделся, увидел топор. Взял. Что ж, пойду належке.

Оно приближалось, и от его движения вздрагивало пространство. Где-то с потолка упал пласт штукатурки. До меня донесся глуховатый звук. Пора.

Я спускался по главной лестнице. На уровне седьмого этажа послышался знакомый шум воды, но я только рассмеялся. Не до того теперь. Я ведь уже почти вспомнил.

Оно приближалось. Оно теперь в нескольких шагах, это точно. Вздрогнули и задребезжали оконные стекла, в коридорах поднялась с пола и закрутилась в воздухе пыль. Все радиоточки разом включились и наполнили Дом многоголосым визгом, в котором ни слова не разберешь. Хлопали двери. Пол ощутимо дрожал.

Я спустился на первый этаж, подошел к парадной двери, толкнул створку, она распахнулась и стала раскачиваться на ветру, издавая надрывный скрип. Двор заливал желтоватый дневной свет. Снега не было, только непролазная слякоть.

Дом дрожал. Кое-где треснули водопроводные трубы, на пол хлестала вода.

Я не пойду во двор. Мне сейчас не туда. Я вернулся на лестницу и спустился в подвал. И тут оно настигло меня. Я стоял, онемевший, пораженный, не в силах пошевелиться, а оно переполняло меня, сбивало с ног, слепило и оглушало. Мир вокруг меня закрутился каруселью золотистых огней, ноги подкосились, и я рухнул на пол. Я вспомнил. Я вспомнил! Оно ворвалось в мое сознание, пронеслось по всем дальним его уголкам, взламывая замки, вышибая двери, проламывая стены, это было как весенний паводок, уносящий ненужный зимний хлам. Оно вытаскивало полузабытые слова, стершиеся лица, потерянные ощущения, то, что, казалось, уже никогда не вернется. Голоса, дороги, люди, радость, боль, одиночество, отчаяние, любовь, печаль, радость, память, я сам. Я вернулся к себе. Я дошел. Незреченно. Непознаваемо. Нет для этого слов, потому что оно – вне слов, вне мыслей.

Не знаю, сколько времени я пролежал. Огни погасли. Все ушло. Я сел на пол и огляделся. Пустой подвальный коридор, слабо освещенный флуоресцентными лампами. Я поднялся на ноги. Теперь я знаю, куда идти. Теперь все закончится.

Я зашагал вперед, туда, где темнела дверь, которой я раньше не видел. Я шел быстро –

все это и так уже слишком затянулось. Голова немного кружилась, но такой ясности я еще не испытывал никогда. Сейчас.

Что это я держу в руке? Зачем? Я разжал пальцы, и топор упал на пол, звякнув лезвием о бетон. Мои шаги переполняли подвальный коридор. Дом притих, насторожился, выжидая.

Вот и дверь. Точно такая, как я себе представлял. Высокая, под самый потолок, черная, резная, с большой медной ручкой. Я потянул дверь на себя, она открылась легко, и я вошел.

* * *

Маленькая комната. В ней – двое. Им едва хватает места. Я посмотрел в его лицо. Совсем не то, что я думал раньше, правда? Как все-таки смешно. Раньше, когда я жил в Доме, я думал, что буду его ненавидеть, что не упущу возможности отомстить ему. И вот мы стоим друг напротив друга, глаза в глаза, я и хозяин всего этого безумия, потаенная сущность Дома.

Было очень тихо.

– Здравствуй, – сказал я. – Ты, кажется, перестарался.

– Здравствуй, Архитектор. Я только воплощал.

– Я знаю. Но это – конец. Я ухожу.

– Ты все равно вернешься. Ну, что ты без меня? Ведь не будь Его, – он повел рукой, словно указывая на стены, – ты не смог бы уйти.

Я ударил его. Пальцам сразу стало тепло, потому что по руке потекла кровь. Он все еще улыбался, даже когда его лицо покрылось сетью трещин. Я ударил еще раз, и он разбился вдребезги, осталась только тяжелая резная рама и россыпь зеркальных осколков на полу. Вот и все. Теперь – последний аккорд. Треск и гул, стон многотонной громадины Дома, лишённого сердца и обреченного на гибель. С потолка посыпалась известковая пыль, где-то вдалеке раздался грохот. Наверное, это обвалились перекрытия. Я поднял глаза. По потолку разбегались трещины, становясь с каждой секундой все шире. Шум – не то скрежет, не то скрип, не то стон – нарастал. Дом рушился. Я знаю, потолок упадет через три удара сердца, а вместе с ним – шестнадцать этажей бетона, железа и стекла. Всего несколько секунд.

Я посмотрел туда, где раньше было зеркало. И там, в резной черной раме, я увидел, как будто в окне, жемчужно-серое осеннее небо, легкое и высокое, и солнце, которое было за облаками, золотистое пятно на сером шелке, и узор из голых темных веток, словно кружево, брошенное в это небо, и самих птиц, черных и большекрылых. Я знал, что скоро пойдет дождь, мне было светло и хотелось смеяться.

ЗДАНИЕ Часть третья.

Вот Дом, который построил...

**Я чувствую себя посторонним,
Когда покидаю свой Дом
По линии чьей-то ладони...**

Зимовье зверей.

Тревожно. Здание опустело. Я не понимаю, что происходит, а оно впервые бесится не от скуки, не злорадно, а как-то тоскливо-раздраженно, словно ничего не может с этим поделать. Оно, вселенское, – и не может. Вот от этого тошно и тревожно, хочется забиться в угол, чтобы точно знать: за спиной никто не стоит, никого нет, только холодная стена.

Здание не хочет перемен, и я тоже не хочу. Слишком тщательная подготовка к ним не обещает ничего хорошего. Господи, да я же знаю, что в Здании вообще ничего хорошего произойти не может. Каждая перемена – это новый страх на смену привычным уже, знакомым, хотя мне казалось раньше, что нельзя привыкнуть к такому. Оказывается, можно.

Что-то я сегодня вру сама себе. Чувствуется непередаваемая фальшь во всем. Как будто читаешь наизусть. Я просто привыкла так думать – с самого утра, день за днем – что все плохо, что лучше не будет, что вообще ничего не будет. Мир рушится вокруг меня. Черт возьми, что же все-таки происходит? Откуда-то пришла вдруг бессильная ярость на кого-то, кто все решил за меня. Сейчас и раньше. Ярость раздирает на части, приходится метаться по коридору, хлопать дверьми, швырять в стену пустые бутылки.

И так глупо, глупо! Что со мной? Что со мной происходит? Хочется кричать и бить стекла, быть волком от сознания собственного бессилия. Впервые я не боюсь, и это еще страшнее, не бояться. Ветер сбежал из Здания, как крыса с тонущего корабля. И не отпускает, давит, давит, давит это навязчивое чувство, что кто-то все решил за меня. Что-то случится. Что-то идет сюда, словно волна катит, словно льется туман. Кстати, он тоже сбежал, удрал отсюда так быстро, что я даже не успела заметить, когда это произошло. Исчезли газеты, звуки, шорохи, перестук капель. Сумасшедше пусто. Просто как-то ощутимо пусто. Непобедимо пусто. Здание истекло и опустело, и теперь случится что-то непоправимое. Оно уничтожит Здание и меня вместе с ним. И все потому, что кто-то решил это за меня. Я больше не могу. Я сейчас изйду ненавистью неизвестно, к кому, может быть, даже к самой себе. И все потому... Что это?

Вздрогнули и задребезжали оконные стекла, в коридоре поднялась с пола и закружилась в воздухе пыль. Вакуумное пространство этажа вдруг наполнилось визгом, воем и кашей голосов, хрипом, скрипом, жужжанием, словно вдруг включились на полную мощность все радиоточки Здания. Звуковая волна накрыла меня с головой, я не успела даже испугаться, зажала уши руками, споткнулась, упала на одно колено. Хлопали двери. Пол ощутимо дрожал. Потом все затихло, и где-то внизу в мертвой тишине заскрипели дверные петли. И все. Настырная маленькая мысль, куда же ты, я же почти все поняла, еще секунду, стой, стой! Ну же!

В висках колотится: «скорей. скорей. скорей». Действительно так, с маленькой буквы – «скорей», нагло, наплевательски. Да что я тебе, коридорный? Обслуживающий персонал?! А, чтоб тебя... Чтоб тебе... Чтоб тебе пусто было! Ты, мразь, слышишь? Самого страшного тебе, самого горького – пустоты, и чтобы нечем было заполнить – слышишь? – ничьим страхом, ничьей болью чтобы нельзя было заполнить! Чтоб так и подохнуть тебе, пустотой переполнившись до последней ступеньки! Вот тебе мой подарок. На прощание. Мало тебе? Мало? Спеть тебе? Так, на добрую память! Нет?! Не хочешь?! Не нравится?!

У меня давно не было праздника, черт возьми! Ярость, ярость, ярость – против него, против себя, против пустоты ярость, против снов ярость, на грани слез ярость, на гребне безнаказанности ярость – да что же это такое, Господи, откуда эти силы, словно и не мои, словно и не было тумана, а горечь эта черная – так, просто, от ночного кошмара, и больше ничего. Да кто ты на самом деле?

Кран, еще кран, и еще, и еще, и еще – сколько их есть на этаже – все открыты, из всех хлещет вода, ледяная серая вода. Моих рук дело – пусть, пусть, пусть! Надо выпустить это наружу, иначе оно разорвет меня изнутри, разбросает по Зданию, и вода смоем мои остатки в подвал, и я так и останусь здесь, но теперь, кажется, точно навсегда. Пусть опять будет потом хихикать надо мной сидя оплывшая старуха, пусть я истеку кровью и силами, мне все равно, это будет после, а сейчас...

Страшно.

Я танцевала, пела, смеялась, шлепала пятками по воде и кружилась, кружилась, кружилась. То, что росло во мне, требовало счастья. Сегодня особенный праздник. Особенный, жестокий, злой. Зданию плохо, но оно не выключает воду. Что-то случилось с ним, наглым, презрительным, бесконечным, кто-то скрутил его в бараний рог и держит. Оно

терпит, дарит мне мою безнаказанность в желтой упаковке, съезживается под моими легкими шагами, под плеточными ударами моих голых ног. Под несносной мукой моей песни – черт, я никогда не пела так звонко и зло! Почему? Куда сбежал ветер? Почему сегодня ночью мне опять снились ворота – и ни одного кошмара! Почему так? Что происходит? Что?

В моей песне названивали колокольчики тревоги, и какой-то мрачный голос твердил: «А у нас все наискось. А у нас все наискось. А у нас все наискось. А у нас...» Голос... Голос. Голос? А я?

Мир переворачивается. Я умру, наверное. Иначе, к чему этот цирк... Может, мне даже не придется долго ждать. Я чувствую, скоро финал. Скоро. А-а-а-а... Ско-ро!!!

«А у нас все наискось». А я? Колокольчики. Что-то не так? Да, что-то не так. Здесь всегда что-то не так. Но сегодня все по-другому, очень знакомо. Откуда? И «что-то не так» тоже по-другому. Что? Ты что-то слышишь? Похоже, что да. Шлеп, шлеп. Безумие.

Ах, как свободно, бело, мокро, неудержимо! Ах, как зло! Что, плохо тебе, да? С твоими этажами, лестницами и закоулками – плохо, да? Ну, плохо ведь, милое мое! Как, черт возьми, как же я тебя ненавижу! И как же яростно, яростно, ЯРОСТНО я тебя не боюсь! И кружусь, кружусь, пою, шлепаю... «А у нас все на...» Что это?!

Где-то внизу раздался мощный удар, и явственно слышен был звон бьющегося стекла. И словно стон – всеобъемлющий, исполинский – беспомощный великанский выдох, полукрик, бешеный и жалкий, жалующийся в пустоту, сознающий это, и оттого еще более бешеный. И снова, снова эта непонятная неожиданная вибрация, и ничего с ней не поделаешь, и никуда от нее не денешься. Главное, остановиться, прекратить этот глупый праздник, не нужный никому. И дрожь нарастает, нарастает, нарастает...

...а я не могла остановиться. Я продолжала хлестать Здание песней, а из моего пустого сердца вдруг начала волнами выплескиваться такая боль – что это?! – что, казалось, стены сейчас вспыхнут, а вода закипит. Я перестала кружиться, я стояла посреди коридора и сжимала виски ладонями, пытаюсь выдавить из мозга песню, напрягая мышцы так, что сердце медным колоколом забилося под лобной костью.

Что это?!

Оно все шло оттуда, из подвала, Здание, кажется, пришло в себя, стало подвывать, еле сдерживаясь. Страшная незнакомая сила перекачивалась по ступеням, подкрадывалась ко мне, и вдруг – заволокла, обняла, и тихо, тихо, тихонечко...

Где? На лестнице или у меня в голове? Где? Что это? Кто это? От сердца к мозгу. Голос дрогнул в болезненном надрыве и сломался. Песня унесла его остатки вниз, забыв всего две строчки. Где-то слева, между ребрами, пронзительно и заметалось ставшее вдруг не моим сердце. Что это?...

Я знала ответ.

Существо.

То самое существо. Да, то самое, что включало свет в корпусе напротив, что бродило в снегу по двору и пыталось обнять стену. То самое существо, которое даже не обернулось на мой отчаянный крик, только мотнуло головой, словно настойчивую муху отогнало. Боже мой, моя тихая надежда, в которой стыдно признаться, худая хромающая фигура в драной одежде, с длинными спутанными волосами, он, к которому Здание меня так и не выпустило, моя последняя соломинка, он, у которого знакомые руки. Знакомые спасительные руки. Он. Это может быть только он, никто больше не в состоянии заставить эту гнилую громадину дрожать всем своим уродливым телом. Что-то происходит непоправимое, ужасное для Здания. Он идет сюда?

Какие громкие звуки. Как все слышно. Тук, тук, тук... Шаги или сердце стучит? Все-таки сердце. Как же все это внутри меня. А горло царапают две строчки. Я уже и забыла о них совсем. Надо произнести. Произношу. Произнесла.

Не на-до! Нет!

Как же все это внутри меня. Что же делать? От Здания толчками исходят ненависть и страх, страх и ненависть, сплетаются в кулак, долетают сюда и бьют меня в живот угрозой

незатейливой смерти. Умереть – мне? Теперь? Что за чушь. Ненависть твоя, страх твой, мученичество твое – все чушь собачья, слышишь?! Все, что от тебя исходит, – бред! Все, что толкает меня в грудь, все твои импульсы, весь твой ужас, все твое злорадство, вся твоя решительность и злость – не существуют! Потому что...

Я побежала.

Вниз, вниз, скорей, потому что это все, финал, хватит, потому что трескается потолок, падает штукатурка, с грохотом взрываются белые тела ламп, и так безостановочно, этому не будет конца, потому что оно само – конец, потому что надо встретить и увидеть его опять, раньше, чем обвалится потолок, а он обвалится, это уж точно. Здание умирает, бьется в конвульсиях, так вот, что происходило с воротами во сне – они, оказывается, тоже умирали, все-таки это было будущее. Бежать, бежать, не думая ни о чем. Чтобы снова не остаться одной. Пусть это уже все – но чтобы не одной.

Воздух взорвался? Нет, кажется, нет. И в который раз – что это? Слова?! Голосит Здание, кружится голова, немеют мысли, ухмыляются разбитые окна. Нет, ты меня так не возмешь. Я все равно найду, слышишь, я найду его, я все равно найду... Черт, откуда дверь на лестнице?! Только...

Она покачивалась на одной петле и скрипела. Дверь. Открытая дверь. Нет, не может этого быть. Это не может быть ТАК ПРОСТО...

Открытая дверь. Я шла к ней, наверное, всю жизнь. Шла, держась за руку высокого измученного человека с опухшими веками, шла по белым углям жаровни, по зеркальным осколкам, по ледяной воде, шла мимо сгустков темноты и паутины, мимо разбившегося в ничто голубя, мимо пепла, газет и сигаретного дыма, мимо слепоты, порезанных рук, мимо ключев тумана, шла, а за моей спиной гнило, рушилось Здание.

Я толкнула дверь рукой, я спустилась по ступенькам – раз, два, три – я ступила босой ногой в блаженную слякоть двора. Ворот больше не было. Вместо них покачивались две ржавые створки, готовые рассыпаться в прах. Я шла к ним в гуле скрипичного оркестра, в урагане собственного дыхания. Я не верила, что так может быть на самом деле. Но так было. Я коснулась рукой одной из створок, волосы пошевелил ветер. Она качнулась в сторону, я зажмурилась, шагнула вперед, а кто-то – возле, вокруг, во мне – сказал:

– Ты же видишь, мы идем к маме.

ДОМ ПОЛНОЛУНИЯ

ЗДАНИЕ

Эпилог

**Это было тогда, когда не было нас,
Это было тогда, когда не было их,
Это было, когда загорался Клаас,
И его едкий пепел сквозь время проник
Прямо в сердце...**

Зимовье зверей.

Была осень. Город сонно ежился в утренней сырости и не хотел просыпаться. Птицы уже отчирикали рассвет и теперь тоже молчали, нахохлившись и разобидевшись на весь мир. Холодно. На земле не осталось желтых листьев, они все пожухли еще месяц тому, когда ветер остервенело раздвигал деревья. Земля молча приняла неприглядную бурю, уже ничего не ожидая. Жизнь все расставляла по своим местам. Деревья тянулись вверх черным кружевом голых веток и растерянно покачивали, словно в недоумении, встрепанными

шевелюрами птичьих гнезд. Птицы расхаживали по веткам, по земле и по небу, степенно и строго поглядывали по сторонам, а иногда немзыкально кричали.

Город спал. Потому что осень, и сыро, и холодно, и полседьмого утра, и небо затянуто серым... По улочке шла девушка.

Она медленно ступала босыми ногами по холодной осенней слякоти. Недавно шел дождь, и, кажется, собирался пойти еще. Размокшая земля еле слышно чавкала, отзываясь на неуверенные шаги. Девушка шла и вглядывалась в темные окна, вздрагивая от утренней сырости. В некоторых квартирах зажигался свет, и тогда она вся устремлялась к новому желтому огоньку, как будто встретила знакомого, а потом снова начинала искать что-то глазами. Она шла и мела мостовую обтрепанным подолом длинного серого платья, грязного, измятого и кое-где порванного. Прямые светлые волосы ниже поясицы свисали слипшимися прядями и набухали влагой. На бледном худом лице жили одни глаза – серые пустоты, осенние лужицы, почти высохшие. Кажется, она очень долго не спала.

Где-то далеко, над морем, должно быть, собрался туман – протяжно-усталые стоны маяков чуть доносились до стертых булыжников мостовой, рассеченных трамвайными рельсами. Была осень.

Девушка шла и шла, неизвестно, куда и зачем, никем не замеченная, никому не нужная, ко всему безразличная. Под ее глазами залегли густые тени, между бровями вертикальными черточками врезались две безжалостные морщинки.

Пожилая дворничиха, сгребавшая листья в подворотне, окинула девушку подозрительным взглядом. «Ишь, дылда здоровая, нет, чтоб работу себе найти, так она уже с утра раннего...» – неодобрительно подумала дворничиха и сплюнула в кучу мусора.

Наверное, был входной. Продрогший студент-медик, возвращавшийся с ночного дежурства, буквально наткнулся на нее, выскочив из какого-то переулочка. При виде ее босых ног, открытой шеи и влажных волос студента взяла легкая оторопь. Он отступил на шаг и даже открыл рот, чтобы сказать «извините». Она подняла на него задумчиво-отрешенный взгляд, посмотрела сквозь и пошла дальше, не сказав ни слова. Мертворожденное «извините» растаяло в воздухе облачком пара. «Да, много у нас сумасшедших последнее время развелось, – подумал студент-медик, поплотнее застегнув куртку и спрятав руки в карманы. – Непременно же схватит пневмонию, а потом лечи ее... бесплатно...»

Город терпел утро. Большая часовая стрелка ползала по замкнутому кругу. По кругу ездили трамваи, ходили люди, плавали облака, летали птицы. По кругу светило солнце.

Девушка медленно шла по улице, хотя давно уже успела порезаться и замерзнуть. Из распоротой ступни выбиралась кровь, тело энергично встряхивал озноб. Девушка шла. «Возможно, человек ко всему привыкает, – подумала вечная старушка, увидев ее из окна кухни, – и к такой жизни тоже...»

Улочка расширилась и незаметно влилась в маленькую круглую площадь. Трамвайные рельсы сделали круг и уползли куда-то по соседству. В центре площадного пятака стоял домик диспетчера, ночной киоск и кучкой толпились люди. Девушка прошла еще шага два и остановилась.

Во влажном утреннем воздухе ленивая сумятица разговоров главенствовала над всем. Голоса звучали негромко, но очень четко, словно вплетаясь в канву испорченного радио-эфира.

– Ах, Паливаныч, да что же вы такое говорите! – причитал женский голос, облаченный в шубу и тюбан.

– А мы всегда так, старая гвардия, – отвечал мужской.

– А где же Пеца? Почему нет Пецы? Он же обещал! – молодой беспроblemный дискант.

– Да ты что, не знаешь его вечные задвижки?

– Да, так вот, сидим мы, ждем, а его все нет, и Пеца говорит, ну, блин, чего ж его все нет...

– А мы тебя ждали, а ты не пришел, помнишь...

Они говорили еще что-то, кажется, рассказывали какой-то анекдот, довольно скабресный, потому что сначала один из них что-то бормотал, а потом, давясь смехом, визгливо выкрикнул: «Сверху! Сверху, нет, ты понял?!» – и раздалось ржание.

– Такой весь из себя...

– А она еще с ним встречается?

– Нет, послала давно, и правильно, я всегда говорила...

– А с кем она встречается?

– С каким-то чучмеком.

– ...недостойно тебя, – вырвался из общей каши энергичный женский голос лет сорока пяти, ухоженный и совершенно безапелляционный. Голос обращался к высокому широкоплечему парню с длинными волосами, одетому в джинсовую куртку. Она встретила с ним взглядом, посмотрела на его руки и вздрогнула.

– Ты связался со всяким отребьем, и все твои друзья отвернулись от тебя из-за этого...

Она больше не видела его лица, только руки, очень знакомые, дающие страх и надежду.

– ...шляешься туда-сюда, а надо просто...

Что-то зашевелилось в глубине ее памяти, руки, руки, темный коридор, кислый запах, паутина, много паутины. Руки, руки, большие крепкие ладони, все в порезах и царапинах. Грязные, с обломанными ногтями, в ожогах...

– ...и делом заниматься, делом, а не херней!

Он спрятал руки в карманы, опустил глаза и отвернулся. Только мотнул головой, словно назойливую муху отогнал. Потом посмотрел вверх. Она потянулась за ним взглядом и увидела то, что видел он: жемчужно-серое осеннее небо, легкое и высокое, и солнце, которое было за облаками, золотистое пятно на сером шелке, и узор из голых темных веток, словно кружево, брошенное в это небо, и лохматые птичьи гнезда, и самих птиц, черных и большекрылых. Она знала, что скоро пойдет дождь, и птицы наохлятся в гнездах, недовольно встопорщив черные перья...

Когда на серые булыжники мостовой упали первые капли, она была уже далеко.

Январь 2000 – июнь 2004.